

ЕЛЕНА КРЮКОВА

СЕРИЕ ФОТОГРАФИИ
МЯТА



Елена Крюкова
Старые фотографии

«Издательские решения»

Крюкова Е.

Старые фотографии / Е. Крюкова — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-833113-8

Старые фотографии. Ушедшие жизни. Каждому сердцу дороги эти старые снимки, на которых память рода, сила чувства, слава страны. Альбом Николая. Альбом Нины. Альбом Маргариты. Как сплетаются три судьбы? Как они отражаются друг в друге и в зеркалах безжалостного, но и гордого, честного, славного времени?

ISBN 978-5-44-833113-8

© Крюкова Е.
© Издательские решения

Содержание

СТАРЫЕ ФОТОГРАФИИ	6
Первая фотография	6
День Лены в Раю	15
АЛЬБОМ НИКОЛАЯ	29
Конец ознакомительного фрагмента.	86

Старые фотографии Елена Крюкова

© Елена Крюкова, 2016

© Владимир Фуфачев, дизайн обложки, 2016

ISBN 978-5-4483-3113-8

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

СТАРЫЕ ФОТОГРАФИИ

Первая фотография

*мамочка, это мы все в Новый 1953 год
в квартире у Риты.
Рита, Марк Вороно, я, Валя,
Коля, Володя Корбаков, акушерка Лена
стоят: Сережа Викулов, Митя Суровцев,
Мишка Волгин, Паша Щепелкин
Евгешу с Яичкой приглашали, но она не пришла*

Коричневое. Сепия. Тьма.
Зернистая грубая бумага.
Или тонкая, ломкая, будто забытое в шкафу печенье.
Или гладкая, глянец блестит под пыльной лампой.
Темные пятна с испода, там, где надпись.
Уголок загнут. Вот-вот отвалится.

По ободу – резная белая рамка, белые мятые старые кружева. Бойся посмотреть в центр. Что увидишь в сердцевине коричневой тьмы? Лица?

Да, лица. Выступают из разводов сепии, сажи, тумана и мрака, схлеста теней и белых пятен.

Пятна светятся. Свечение над головами.
Миг – и сработал затвор фотоаппарата.
Чем снимали? «Зенитом»? «ФЭДом»?
Неважно. Сняли.

«Замерли все, ребята! Сейчас вылетит птичка!»
«Сделайте так губами: урю-у-у-ук!»
«Нет! Какой урюк! Ты спятил! Лучше: куряга-а-а-а!»
«Хорош болтать! Замри!»

Разводы и потеки коричневой тьмы, нежной сепии; морозные узоры по карему отпечатку, метель времени – бумага выцвела, и сквозь тьму просвечивает белый вечный снег. Вечная зима. Где все эти люди? Давно в могиле. Под землей, и снег намывает на могилах сугробы, увеличивая посмертный горб в размерах.

Поднеси коричневый маленький квадрат ближе к лицу. Вот так. Еще ближе. Ты различаешь глазами время? Ты различаешь его душой? Сердцем слушай его. Оно не обманет тебя. Эти люди не обманут тебя. Они скажут тебе всю правду. Только правду.

Правду о себе и о времени.

Не бойся.

Сделай этот шаг.

Ведь это же так просто.

Просто приложить квадрат старой фотобумаги к лицу. Просто – вдохнуть. Пахнет клеем и шкафным нафталином. Просто зажмуриться. Просто шагнуть. А может, влететь. А может, протянуть к родному лицу лицо и руки, и потянуться, и тихо дотянуться – через коричнево клубящееся пространство: ведь это же стоит твоя мама, вот она, ты можешь войти

в эту комнату, где празднуют Новый год, ты можешь войти, войди, переступи, успеи, вернись, не бойся, ты уже вошла.

Тебя не видят. Ты хочешь крикнуть: «Мама!» – но она тебя не знает, это еще не твоя мать. Это просто красивая черноволосая женщина: гладкая прическа, круглый черный шар пучка на затылке, над смуглой высокой шеей. Перед ней на столе, на белой, уже заляпанной едой и вином скатерти, большая хрустальная рюмка: наполовину полна или наполовину отпита? Жизнь только началась. Румяная, смуглая молодая чернушка только вернулась в Вологду из Бурят-Монголии. Там она работала врачом в детском костно-туберкулезном санатории. Сколько горя повидала! Детишки на койках лежат, у кого бедро гниет, у кого щиколотка. Куриные косточки. Цыплячьи грудки. Нина прибежала, цок-цок каблучками, из палаты в докторскую каморку и вминала в лицо надушенный кружевной носовой платочек. Платок кружевами мама обшила. И белье кружевное Ниночке в чемоданчик сложила, и куличи – побаловать – в дорогу испекла, хоть вовсе не Пасха на дворе была, и куличи – от греха – в духовке все примялись, не вспухли, не взошли.

«Деточка, ты за чемоданчиком следи, сопрут!»

Она следила, а когда засыпала на верхней полке, подружка на чемодан старательно глаза таращила. Высоко лежал чемоданище, на третьей полке багажной, но ведь воры ловкие, они все равно залезут. Подруженька. Врачица молоденькая. Лелька Митекина. Беленькая французская булочка. Кто тебя съест, Лелька? Когда?

В Ниночку влюбился бурят, главный врач. Угощал ее красной икрой из огромной миски. Втыкал столовую ложку в красную горку и грозно рокотал: «Ешь!»

А то водки полстакана нальет, омуля разрезанного на газете поднесет: «Не нравится наше угощенье?!» Вращал узкими глазами, скалился, пугал. В кабинет никто не входил. Но ни разу, ни разу он к ней руку... не протянул... и руки его... дрожали... когда закуривал, и курил долго, у форточки стоял, молчал, тьма молчанья сгущалась, и Нина пятилась к двери, уходила, выскальзывала рыбкой в черную дверную щель.

А какие там кедры... Господи... кедры...

А когда Нина уехала, Лелька письмо прислала. «Нинка! Я теперь любовница главного. Холугжанов меня на руках носит. Я ему на операциях ассистирую. Он на шов глядит, потом на меня, и рычит, как волк: „Смажьте ебом!“ Я ему – чем-чем, Гомбо Цырендоржиевич? Ну, йодом, понятно. Ржут все вокруг! Знаешь, Нинка, я хочу, чтобы он на мне женился! Но у него ведь жена, бурятка, и три бурятенка!»

Рюмки-ножи-вилки, их нестерпимый блеск. Маргарита наготовила еды будь здоров. Как у них в Куйбышеве говорят – на Маланьину свадьбу! Стряпуха Ритка отменная. И чего Николай бегаёт от такой жены?

Вот он, Коля, по левую руку от Нины. Подливает ей в рюмку вина. Очень, очень сладкое темное вино. «Кюрдамир». Таджикское? Узбекское? Слаще всех узбекский виноград и узбекские дыни. Чарджоуские. Огромные, зеленые, в кракелюрах, дирижабли. Во время войны – сколько узбеков, таджиков и туркмен слонялись по Куйбышеву! Милостыньку просили. У туркмен – поселенье на том берегу Волги. Катаются на верблюдах двугорбых, плывут-качаются в вышине, а жены их малолетние в юртах сидят, с куклами играют. Выбежит из юрты такая чернокосяя женка – а они, девчонки Липатовы, к ней бросятся: скажи, скажи, сколько тебе лет? Она пролепечет: девять. «А правда ты жена?» Правда, правда, кивает. «А как же ты... с мужем?» Как все, пожимает плечами. Смеется. Монисты на шейке, на смуглой грудке, трясутся. Угольные косы, толстые и тугие, покорно висят вдоль круглого, как чайное блюдце, личика.

Коля ей тоже все говорит: ты такая черненькая, может, ты узбечка? Или таджичка? А может, грузинка? А может, еврейка? Или татарка? «Я цыганка!» — однажды закричала

она и шлепнула его перчаткой по губам. Как она любила целовать его губы! Его рот! Такой нежный, улыбочивый, приятный. Такой родной.

А ведь он муж чужой жены, Нина. И ты – разлучница.

И ты в Новый, 1953 год сидишь за столом у него дома, и его жена Рита ухайдакалась на кухне, и теперь свалилась без ног и спит в спальне, и рядом с ней, под тощим боком у нее, сопит сын Николая, пятилетний Сашка.

– Ниночка, я тебе салатика оливье положу?

Молчит. В сторону глядит.

– Что молчишь? Ты слышишь меня?

Нежный, теплый шепот в ухо, горячие губы у самой мочки. От губ пахнет водкой, от чисто выбритого подбородка – чуть-чуть женскими духами: «Красной Москвой».

– Слышу. Положи. Ложечку.

В хрустальной вазе – салат оливье. В другой – салат из крабов. В третьей – сырный салат. В четвертой – сельдь под шубой. Посреди стола – овальное, длинное, как корабль, блюдо, в нем мясо по-французски, с жареным луком и сыром. А вот курица, в духовке запекли, раздвинула ножки!

«Я не курица. И я перед ним ножки не раздвину. Так просто всего захотел».

Нина заставила себя улыбнуться. Улыбайся, ведь это же праздник!

Сестра Валя толкнула ее в бок локтем:

– Ты че, Нин-блин, плакать собралась?

Нина ударила ее глазами, и Валя отшатнулась и деланно засмеялась.

– Я просто так спросила. Не дуйся.

За столом, с рюмкой в руке, встает художник Володя Корбаков. Он хороший художник: пишет крестьян на телегах, бочонки и крынки, и то, как ловят раков в лесной реке, и прекрасные, самоцветные этюды у него. Отличный художник, только Крюков – лучше! Крюков – соперник. И это тоже хорошо. У художника должен быть соперник. Иначе он умрет в ленивой пустоте всеобщих похвал.

– Товарищи! — Трудно перекричать пьяную компанию. Все веселы, орут, руками машут, горят глазами, вздрагивают губами в смехе, просьбах и улыбках! Цветные пятна нарядных платьев плывут и вспыхивают перед глазами: запоминай, художник, чтобы потом с весельем, с блеском, с мастерством – изобразить! — То-ва-ри-щи! Внимание! Товарищи, мы весьма успешно проводили старый, тыща девятьсот пятьдесят второй! И всячески его помянули!

– Вова, ты не в церкви! — на весь стол крикнул сумасшедший Марк Вороно. Марк Вороно, пациент Вали, с ее участка; немножечко полоумный, но это ничего, безобидный, не буйный. Курчавые светлые бараньи волосенки. По-дамски изогнутые губы. Валя говорит: придешь к нему на вызов, он с температурой лежит, горло бабушкиной шалью обвязано, на табурете близ изголовья вишневая наливка, — и тетрадка на подушке: пишет стихи.

– Господи поми-и-и-илу-у-у-уй! — назло, нарочно забасил Корбаков.

И Крюков подхватил, тоненько, а ля мальчишки-певчие на клиросе, дробно рассыпал:

– Господи-помилуй-Господи-помилуй-Господи-помилуй-у-уй!

У Вали брови поползли вверх на красивом лице. Она была еще красивее, чем сестра. Тоньше черты лица. Алее губы. Больше глаза. Киноактриса, да и только. Звезда. Еще немного – и Целиковская.

– Мужики, вы ненормальные! Дайте Володе тост сказать!

Гомонили. Смехом взрывались. С трудом утихали.

Вот замерли. С рюмками, бокалами, фужерами в руках.

Николай покосился налево, на Нину. Потом направо, на Валю. Две сестры, две красавицы. Живут над ними. Этажом выше. В однокомнатной квартирке. Он слышит по ночам, как

они ходят. Половицы скрипят. Призывная ночная, страстная музыка чужих половиц. Сестрам не спится. Он ухаживает сразу за двумя.

Рита все знает. Молчит. Улыбается. Спит-то он с ней. С законной женой.

– Дорогие товарищи! — возвысил голос Володя Корбаков и выше поднял рюмку, и чуть наклонил, и водка чуть вылилась на скатерть. — Мы с вами живем в счастливой стране! Войну пережили. Переплыли! Из разрухи послевоенной – выкарабкались! Поднялись! Мы все смотрим навстречу будущему! Мы все молодые, — он сглотнул, и нервно дернулся кадык под рыжей бородкой, — ребята...

Коля нашел под столом, под скатертью, Нинину руку, крепко сжал.

– И мы – счастливы! Уходящий год у каждого был... по-своему трудный... и по-своему отличный... Но я хочу сейчас сказать! — Еще выше взмыл голос, от басовых низов летя к звучному, густому баритону. — Вот вся эта роскошь, — он обвел рукой стол. — Все наше счастье! Счастье всех нас! Нашей страны! Зависит! От здоровья! — Паузу важную выждал. Выше рюмку вздел: над головой. — Вождя!

Гробовая тишина. Слышно, как безумная сонная декабрьская муха жужжит в стеклянном рожке люстры.

– И я хочу провозгласить этот тост! За — Вождя! Чтобы он – выздоровел! Он нужен нашей великой стране! Всем нам! Каждому из нас!

Все встали, держали бокалы и рюмки перед собой.

Минута молчания. Как на похоронах.

– У всех шампанское налито?! — заполошно крикнул курчавый баранчик Марк Вороно.

Рука Корбакова, высоко, как факел, держащая рюмку, мелко тряслась.

– За здоровье Вождя!

– За здоровье Иосифа Виссарионовича, — спокойно, по-царски произнесла Валя и приблизила свой бокал к рюмке Корбакова, но не достала ее – слишком высоко.

И все закричали, перебивая друг друга:

– За здоровье Сталина! Великого Сталина! Чтобы он был! Чтобы он... чтобы он!.. великого... сильного... ура... ура!

– Ура-а-а-а! — раскатил над столом священнический бас профундо Корбаков, и рюмки и тарелки зазвенели.

И все стали ударять рюмкой о рюмку, бокалом о бокал, и смеяться в лицо друг другу, и улыбаться, и отпивать из бокалов – женщины нежно и помаленьку, изящно пригубливая, а мужчины широко и вольно, разудало в глотку жгучее питье опрокидывая; и хохотать, и целоваться – в воздух, понарошку, чмокая губами, сложенными как крылья бабочки, и по-настоящему – крепко и вкусно, и женщины пачкали яркой помадой щеки и усы и бритые подбородки мужчин и воротники мужских рубаш. И все стали искать глазами часы, а женщины подносили к глазам запястья, на наручные часики глядели, на золотые усики драгоценных живых стрелочек, и ушки к циферблату прикладывали, — стучит ли железное дареное сердечко?.. стучит!.. — и ахали, и делали круглые глаза: стрелки бегут, скоро полночь!

– Ребята, двенадцать через пять минут, — Николай выпустил Нинину руку, как задушенную птичку, под кистями скатерти, встал за столом, потянулся к непечатой бутылке шампанского – открыть. — Времени в обрез. Ставьте все бокалы в центр стола! Я быстро разолью!

Открыл бутылку артистично, виртуозно. Нина любовалась. Чувствовался опыт пирушек, застолий. Крепкой ладонью придержал пробку, пока не выскочил наружу взрывной воздух. На ладони – шрам, и мышцы уже сводит контрактура. Рана. Ранили на войне. В бок и в руку. В руку – барахтался в ледяном Баренцевом море, когда их сторожевик торпедировали. А англичане тонущих подобрали. Не всех. В бок – под Москвой. Морячков молодых

туда послали, в сухопутные войска. Отовсюду срывали: и с Черноморского, и с Тихоокеанского флота, и с Северного морского пути. Все силы стянули. Столицу не отдали.

«Он мог погибнуть сто раз. А остался жив. И мы встретились».

Обожгла, обласкала его черными, шмелиными глазами.

Он не видел ее откровенного взгляда: шампанское разливал.

Пузыристая струя лилась в бокалы, светлая, сладкая, золотая.

– Минута осталась! Загадываем желание!

– Чтобы мне напечататься в «Новом мире»! — зычно, на всю гостиную, крикнул Сережка Викулов.

– Мне родить еще одного! — выдохнула акушерка Лена Дементьева, широкозадая, как пирамида, с лицом светлее полной Луны.

– А мне – на Вальке жениться! — завопил восторженно Мишка Волгин, офицер: и за столом в офицерской форме восседал, при полном параде.

– Дураки! — крикнул Николай. — Каждый загадывает про себя! И молчит в тряпочку!

Быстро, мгновенно разобрали, расхватили бокалы. Стояли с бокалами в горячих пьяных руках. Новый год шел и наступал. Наступал им на пятки. Наступал им на руки, локти, лопатки; на ноги, как танцор в неумелом фокстроте. Наступал – снежным светом – им на ждущие лица.

– Радио включено?! – заорал Пашка Щепелкин.

Но уже били, били, медно звенели, рассыпались по комнате, по столу, над шторами и фужерами, над салатами и пустыми бутылками в углу, на полу, над запрокинутыми к будущему счастью лицами эти звуки, их знала вся страна, ждала и любила: куранты.

Там, далеко, через снега и леса, через реки и города, в большой и прекрасной ночной Москве, на Спасской башне, украшенной красными каменными кружевами, били, звенели колокола эти старые, – под красной самосветящейся звездой, над простынями метели, что вяжется в белые узлы и распадается на белые паутинные нити, и там, в Москве, люди, кто на Красной площади в этот момент оказался, задирали лица к черному стеклянному кругу с золотыми римскими цифрами: счастливые! живьем куранты слышат! — и по всей стране, по всем квартирам, и бедным и богатым, по всем коммуналкам, по всем баракам, по деревенским избам всем, везде люди оборачивались к радио, к черному круглому репродуктору, к маленькой коробочке, источающей волшебные звуки, — вот и здесь, в вологодской квартире Крюковых, все гости повернулись к радиоприемнику, аккуратно укрытому кружевной, с аппликацией, салфеткой, — и под эту вечную упоительную новогоднюю музыку чокались, сталкивались рюмками, бокалами, сталкивались лицами, сталкивались сердцами, сталкивались жизнями.

Хоть на час. Хоть на миг.

Хоть на время, пока бьют куранты.

– С Новым годом, ребята!

– С новым счастьем!

Счастливо блестят глаза.

А может, с новыми слезами?

Нет. Радость это. Такая радость – лишь раз в году.

А сколько новых годов в жизни?

А может, слезы – это тоже счастье?

– Эй! Друзья мои! А где Рита?

– Да, где, где, где? Где Маргарита?

– Маргарита Ивановна! Ау!

– Хоть бы поела чего. Готовила, готовила... крошила салаты, крошила...

– Риточка! Ушла?..

– Господи, куда, в метель...

Черно-синие мрачные стеклянные, длинные гробы окон залеплял белый шелк, холодный атлас, вился, перекручивался – метель царила, владычила, переходила, как всегда зимней северной ночью, в жестокую, мощную пургу.

Коля открыл дверь в спальню. Поднял кулак и погрозил гостям.

– Тихо! Спит, — кивнул в прозрачный, зеркально блеснувший дверной проем.

Из спальни речным черным льдом глядело большое, будто венецианское, зеркало – отражало гул и праздник, охраняло двух спящих – худенькую девочку и маленького мальчика, свернувшихся вместе, в один мерзнувший ознобный клубок, как два котенка, на одной кровати. Девочка была худа, уж слишком тоща; ее никак нельзя было назвать матерью; и все же это была мать спящего мальчика.

И ее звали Маргарита.

– Маргарита, — сказал Коля, и его вкусные розовые, нежные губы поморщились, будто он захотел заплакать или кого-то крошечного, жалобного – поцеловать.

Нина, с бокалом шампанского в руке, стояла около елки.

Не замечала, как колючая черная ветка изловчилась и впилась ей в голый локоть.

Крепдешинное платье, нежно-розовое, все в мелких рассыпанных красных розах. Розы собираются в складки, падают шелковыми, блестящими сгибами. Над плечами – буфы. Кто ж в летнем платье Новый год встречает? И в комнате холодно. Топят плохо. За окном – лютый мороз. Пурга до небес. Волки воют в лесах. Вологда, маленькая деревянная лодочка, со свечами еще живых, неубитых церквушек, среди черных волн необъятных северных лесов. Плывет, качается.

И они в ней – плывут, и качаются вместе с ней.

Нина поймала взгляд Николая. Он увидел шелковую бледность ее щек. Куда саянский румянец делся. Он все шутил: «Румяные щечки на красной санаторной икре наела?!»

Плотно, властно прикрыл дверь в спальню. Чтобы ни один возглас не проник. Ни один шумок, свист и визг.

– Нина, — к елке шагнул.

Нина попятилась, а сзади была елка, и пятиться было некуда.

Так и стояла – беспомощно, с расставленными руками, в одной руке бокал, пальцы другой растопырены, воздух ловят, а кто-то уже ставит модную пластинку на бегущий круг патефона, и поет, поет воздушный голос Клавдии Шульженко: «Синенький скромный платочек падал, опущенный с плеч!» — и кто-то кричит: «Ребята, ребята, танцевать, танцевать! Вальс!» — а Нина стоит, хвоя колет ей спину через тонкий шелк, и вспыхивают на елке игрушки одна за другой: стеклянный розовый фонарь, картонный мухомор, серебряный белый медведь, изумрудные цепочки и рубиновые бусы, и загораются гирлянды – все лампочки горят, а одна погасла, — и теплятся живые свечи, это хулиган Корбаков понатыкал, настоящие, из церковного темного воска, — и, наконец, бьет по глазам огромная золотая звезда на верхушке: жаль, что не красная. И Нина поворачивает голову, и Коля смотрит на ее профиль: гордый, царский. А глазки такие ласковые, ясные.

Он берет из дрожащей руки бокал и ставит на стол. А то еще швырнет в гнев, в ревности, об стену разобьет.

Валентина все видит. Узкими стали ее глаза. Смеется надменный, смоляной прищур. Носу на ногу Валя кладет. Добывает из кармана складчатой широкой юбки золоченый портсигар. Откидывает крышку. Берет сигаретку. Галантный Марк Вороно подносит не спичку – зажигалку: ого, «Zippo»! На черном рынке, франт, купил; и наверняка трофейная.

Туфли на высоченных каблуках. Неудобно в таких танцевать. Или, напротив, удобно?

Мишка Волгин сдвигает каблуки. Офицерский китель выблискивает под громоздкой, с пятью хрустальными рожками, люстрой всеми медалями и орденами.

Орден за Москву. Медаль за освобождение Ленинграда. За взятие Варшавы. За взятие Берлина. Валька, ты дура круглая будешь, если за меня, такого хорошего и бравого, не пойдешь.

Темная юбка отлетает вбок. Шифоновая кофта пахнет розами. Женщины – это розы, это цветы. Валя – роза с шипами. Как ни старайся, Волгин, как ни вальсируй искусно, не удержишь, пальцы все обколешь.

– Ты говорила, что не забудешь... ласковых, радостных встре-е-еч! — закатив глаза, подпевал Шульженко уже крепко хмельной Митя Суровцев, художник.

Две актрисы драмтеатра, узрев, что Валя курит, притулились в уголочке за елкой, распахнули форточку и тоже закурили, переихихиваясь и перешептываясь.

– Нина, — говорит Коля тихо, совсем тихо. Шаг, вот она совсем близко. Отводит голову. Гладкая щека. Жемчуг клипсы кусает мочку уха. В ярком праздничном свете виден легкий, невесомый, как иней, пушок на щеке. — Ниночка. Ну что ты.

Пухнут губы, мгновенно вспухают, наливаются болью, алым соком невыпитых поцелуев. Задушенной в крысиных подвалах, в картофельных военных мешках, в кузовах грузовиков, под завалами взорванных храмов, страстной и великой юностью. Юностью, что бешено, до боли и крови, хочет любить и жить. Жить и любить. Жить и...

– Ниночка, я тебя...

Голову вскидывает. Глаза в глаза.

Неловко задела локтем еловую ветку, и золотая звезда пошатнулась на верхушке, не удержалась, — рухнула. Вдребезги.

Коля наступил «скороходовским» ботинком на мелкую золотую чешую осколков.

– Порой... ночной... мы расставались с тобой!..

Прозрачный, чуть с хрипотцой, знаменитый голос. Под этот голос бойцы засыпали на фронте в землянках. Он снился им. И эта прическа, модная «волна», крылышками ото лба вверх. Она что, тоже курит, звезда Клавдия Ивановна? Голосок-то прокурила.

Коля берет руку Нины в свою. Другую кладет ей на талию. Вальс, это вальс. Кружись. Танцуй. У него жена, ну и что! Он так глядит на нее! Он выше ее ростом. У него волосы русые, пушистые, летят вокруг головы – сено, вздутое поземным ветром. А улыбка такая — можно за нее жизнь отдать.

«Нинка, врешь ты все себе, какая жизнь, зачем отдать».

Николай шагнул широко, в проем между Нининых лаковых туфелек. Ах, туфельки. Нищенская зарплата врача. Все равно модельные туфли упрямо покупает девочка. Ах, уже не девочка, конечно. Нина Степановна. Так зовут ее больные и доктора в ее глазной больнице. Так зовут ее крестьяне в заброшенных в тайге деревнях, куда она – на самолете-«кукурузнике», трясучем «У-2», а то и на лошади, и лошадь вязнет по брюхо в снегу, и не греет короткая, по колено, старая шубка, и в валенки набился снег, и снег слепит глаза, такое бешеное солнце! — ездит в командировки: выявлять трахому.

«Трахоматозных в селе — пятьдесят человек. Население (количество) – пятьдесят человек».

Руку крепко сцепил ей, как клещами. Повел, повел! Крутил и вертел. И она подчинялась. Вальс, это новогодний вальс. Нина и Коля. Коля и Нина.

А Рита спит в спальне. Умучилась.

И Сашка прижимается к ее худенькому, тощему, как у сухой воблы, боку, к костяному гребню горячо дышащих ребер, и вскрикивает во сне.

И горят, шевелятся гирлянды на елке, и догорают свечи.

А тут звонок: кого нелегкая принесла?

– Ребята! А может, это дед Мороз!

Музыка бежит за музыкой, песня пропитывает вином песню. Актрисы режут на кухне бутерброды, сквозь фигуры танцующих сочится и вьется терпкий табачный дым, танцует вместе с людьми, умирая. Актрисы наперебой читают стихи поэту Викулову, и поэт Викулов важно кивает головой: о да, талантливо! А это чье? «Бальмонт», — смущенно наклоняет тяжелую лилию головы белокурая актриса. «Бальмонт! Фу! Декаданс! Вы мне лучше Маяковского почитайте!»

Акушерка Лена гремит замками. В гостиную входит старикашка, сморщенный, черный сморчок. Вынимает из кармана грязного ватника горбушку ржаного. Хрипит:

– Закуска! Пустите?

– Садись, Иван Петрович, садись, выпей! — Коля придвигает к старикашке рюмку. — Товарищи, внимание! Это мой натурщик! Петрович, истопник наш! Я с него — этюд писал! И карандашные наброски делал! Пей, Петрович! с Новым годом!

– С Новым, — старик медленно, осторожно берет рюмку, вбрасывает водку в глотку, как дрова в топку; на хлеб любовно глядит, не кусает его — нюхает, будто целует икону.

– Ешь, Петрович!

Старик погружает вилку в нефтяно, цветно сверкающий срезом кусок селедки. Подцепляет кольцо репчатого лука. Жевать нечем — зубов давно нет. Жамкает деснами. Глаза блестят пьяной, почти детской радостью: выпил, поел, согрелся. У хорошего человека.

Николай смотрит на старика пристально. Запоминает.

Художник, гляди. Художник, запоминай.

Художник, все помни.

Нарисуешь потом.

И тут отлетает в спальню дверь.

И на пороге стоит эта худышка-девочка, заморыш.

Заспанная. Белесые, слишком светлые, цвета метели, будто седые, волосы лезут ей в рот, ложатся белыми полосами поперек лица, на лоб, на щеки. Она откидывает их сонной, медленной, кожа да кости, рукой. Из-под волос вспыхивают глаза. А может, елочные игрушки? Слишком синие. Слишком светлые. Слишком сияют: нельзя глядеть.

Слишком детские, а ведь она мать уже.

– С Новым годом, — беззвучно шепчет девочка-Дюймовочка.

Музыка заглушает ее. Ее никто здесь не слышит.

Все танцуют. Все обнимаются. Все едят ее салаты. Все прыгают и скачут, как козлы и обезьяны. Человечий праздничный, карнавальный зверинец. Живая свечка падает с елки на паркет, Маргарита быстро садится на корточки, чтобы подхватить ее, схватить огонь. Не успевает. Пламя уже подпало серпантин. А Коля, она смотрит печально, исподлобья, уже разорвал пакет с конфетти — и щедро высыпал цветное смешное зерно на головы танцующих, на плечи и голые, декольте, шеи и груди.

– Пожар, — шепчет беленькая девочка еще тише.

Танцуют! Крутятся! Вихри юбок обнимают голые ноги! Патефон включили на полную громкость! А это уже не Шульженко, это уже Марика Рокк, трофейная пластинка!

Огонь замечают только тогда, когда Маргарита, ползая по навощенному к празднику паркету, кухонным полотенцем сбивает пламя с еловых ветвей, с серебряного, льющегося с верушки до полу дождя из фольги.

– Огонь, — шепчет Маргарита и, кажется, плачет.

Никто не видит. А может, так она смеется? Спина дрожит.

– Товарищи, товарищи! Внимание! — Посреди танцующих, как вкопанный, встает Мишка Волгин, и брякнули все ордена-медали на его широкой, как шкаф, груди. — Мы тут чуть не сгорели! Пожар?

- Где пожар?!
- Как пожар!
- Фу, горелым пахнет! А-а-а-а!
- Ноль один, Митька, вызывай ноль один!
- Черт! У Крюковых телефона нет!
- Недавно въехали, еще поставят... Коля пробьет... он пробивной...

Маргарита сидит под елкой с грязным обгорелым полотенцем. Синие глаза, незабудки, обводят всех гостей, каждого ощупывают, каждого приветствуют, каждому тихо говорят: «Я тебя никогда не забуду».

Николай выпускает Нину из объятий. Музыка оборвалась. Сняли пластинку с патефона, остановили бег метели. Муж наклоняется над женой, вынимает грязную тряпку у нее из рук, встает перед нею на одно колено и говорит, мгновенно и стыдно, как мальчик, краснея:

– Ритуля, сядь за стол вместе со всеми. Попразднуй! Ну ты же...

Синеглазая худая девочка тихо кладет ему на губы ладонь.

Тихо встает.

Она – над ним, наверху, а он внизу.

– Я пойду посплю. Я спать хочу.

Он видит ее узкую, как весло, спину, уныривающую в зеркальную, темную воду озера спальни.

В спальне хнычет ребенок: проснулся. Хочет пить; хочет писать. Хочет спать. Хочет – жить.

Коля, закусив губу, подходит к Вале и вынимает ее, как игрушку, из рук Мишки Волгина.

– Музыку! – кричит. — Там пластинка Лещенко! Ставьте! «Татьяну»!

Под «Татьяну» танцуют Коля и Валя, а Нина глядит на них; а Маргарита не глядит, ей глядеть незачем. Она, во тьме спальни, двигаясь медленно и робко, как слепая, намочила носовой платок в холодной воде – на подоконнике кружка. Кладет на лоб ребенка: у него жар. Опять жар. Может, у него вираж. Это она его заразила. Врачи поставили ей диагноз: туберкулез. Поддувание делали. Это очень больно. Рита чуть не задохнулась от боли и слез. Врачи смотрели на нее бесстрастными глазами поверх белых масок. Сказали: «Мы не знаем, сколько вы проживете на свете. Живите».

И она – живет.

Вот еще один Новый год. Еще одна елка. Вологда вместо Москвы. Подушка в слезах – вместо бокала шампанского. Мальчик плачет. Это во сне.

«Тихо, тихо, спи, спи», — шепчет она ребенку, обливая его нежный молочный затылок слезами, прижимает его к себе, теснее, еще теснее, вот так, близко.

И они засыпают оба. Спят.

И не видит Маргарита, как Коля, еще подвыпив, хватая Нину за руку и тащит ее в прихожую. Актрисы пьяным, птичьим дуэтом самозабвенно поют «Ой, то не вечер, то не вечер, мне малым-мало спалось». Мишка Волгин, расстегнув китель, чокается с истопником Петровичем фамильным, радужным хрусталем, бьет себя в грудь и кричит: батя, я под Москвой был и выжил! Я Берлин брал! А ты, ты где был, когда я там, под пулями?! Под снарядами... в бога-душу-мать! А?!

«Я в штрафбате был, — пожевав губами, хрипло цедит старик. Чешет черными крючьями пальцев впалую ямину щеки в серебряной густой щетине. — И – ни шагу назад. На мне подорвался. Меня в госпитале по частям сшивали. Видишь, сшили. Спасибо дохту-

рам. А я-то ведь, паря, и на Первой мировой был. А ты – не был. Так неча тут мне приговор читать. Мал еще. Зелен виноград».

И Мишка Волгин бледнеет; и ель над ним трясет черной мощной лапой, пытаюсь стряхнуть с себя прочь, далеко, смешные бирюльки, пустые забавки, жалкие игрушки, блестящую людскую мишуру, золотую чешую, стать снова свободной и лесной.

Но отрублен ствол. И сохнет комель. Ты уже мертвая, ель. И мертвый твой Новый год.

А Коля Крюков в прихожей целует, неотрывно и жадно, как воду ледяную в жару пьет, целует Нину, запрокидывая ей голову, всю ее запрокидывая назад, через колено свое, как в танго, — и Валя, чуть приоткрыв дверь, жадно, неотрывно следит за ними в прозрачную бесстыдную щель бесстыдными, жесткими, горящими глазами.

День Лены в Раю

Меня мама сегодня разбудила в семь утра. Очень не люблю вставать в семь. Сегодня понедельник, вчера воскресенье. Смерть не люблю, когда в школу. Все шесть дней школьной недели, когда я утром обреченно складываю в портфель учебники, мама говорит: «Как на каторгу». Я знаю, что такое каторга. Это вроде тюрьмы, только на открытом воздухе. И там всех каторжан бьют плетками и мало дают есть. Почти не дают. Все худые, голодные. И глаза у них горят как у зверей.

– Лена, быстро умываться! Хватит разлеживаться!

– Мама, ты кричишь, как мачеха, — бормочу я. Сажу на краю кровати и натягиваю теплые чулочки. Зима, все окна затянуты красивыми серебряными узорами. Надела чулки, рейтузы, фланелевую рубашечку. Подошла к окну и колупаю пальцем ледяное стекло. Соскребаю лед. Продышиваю ртом круглое теплое озерцо. Гляжу в него, прищурясь, как в микроскоп.

– Лена! Долго я буду ждать! Мне еще тебе косы заплетать!

Даже ужас холодной воды в ванной не сравнится с ужасом заплетания кос.

По длинному коридору бегу в кухню, оттуда – отсырелая, забухшая дверь в ванную. По обе стороны коридора двери хлопают – жители нашей коммуналки вылезают из нор. Кто лиса; кто волк; а старый грек Сократ, бывший офицер, после войны, рука на перевязи, картежник, все играет с друзьями в преферанс, похож на барсука. Чистый барсук. И нос такой же, вытянутый, воздух нюхает. А в кармане старого длинного халата – по пяткам бьет полосатый атлас – всегда толстая, жирная колода карт. А на лице – длинная, хитрая усмешка, а внутри губ – отчаяние.

Вот она, старая чугунная ванна на чугунных львиных лапах. На лапах можно разглядеть чугунную шерсть и выпирающие наружу чугунные когти. Это так скульптор сделал для страха. Чтобы дети – ванны этой – боялись.

Льдистая, слоистая вода. В кувшине на кафельном полу. Кувшин фаянсовый, огромный. Приподнимаю с трудом. Спина болит держать. Воды с утра нет. Воду будут опять давать вечером. Загодя хозяйки, и мама в том числе, набирают воду в свои кувшины и кастрюли и ставят их в ванной на пол.

Лью воду на руку. Рука немеет от холода. Тру лицо холодной жесткой ладонью, как кошка лапой. Чищу зубы «Особым» порошком. Из чего делают этот порошок? Из школьного мела? Ножами мел натирают и в круглые коробочки складывают.

В кухне, возле керогазов, керосинок и примусов, толкуются соседки. Вот Паня-истопница. Вот старуха Киселиха – чешет, корябает ногтями под кофтенкой тощую деревянную грудь: у нее там, Варварка Гончарова шептала, вытатуирован – дьявол. «Не дьявол, а Сталин», — горячим шепотом поправляла ее дочка Милка.

Вот длинной деревянной ложкой помешивает в кастрюле овсянку Санька. Все в коммуналке зовут ее: Санька-итальянка. Санька портниха. Втихаря берет на дом работу – и шьет, шьет. За полночь швейная машинка стучит, пулеметом из-за двери строчит. А Тамарка бьет ей в стену каблуком снятой туфли. «Прекрати долдонить! Уши лопнут!» Легкая, непрочная тишина. И – через раз – запинаясь – заикаясь – робко – несмело – нежно – дико – и все сильнее и сильней, и все безумней и безумней – опять строчит бессонная машинка. Шить-то надо. Жить-то – надо.

Керогазы пыхают синими цветками вонючего пламени. Примусы жужжат. Киселиха держит в согнутой кочерге руки ложку, немыми, высохшими губами втягивает внутрь себя горячее, обжигающее: вкуснятину, жизнь.

Что у нас, жизнь, на первое? А что на второе?

«Это не я спрашиваю. Это кто-то во мне спрашивает».

– Здравсте! — киваю я соседкам.

Они меня не слышат. Переругиваются.

– Санька, ты, фря! Кто ито к тебе так поздненько вчерась приходил? А? Новай хахель?

– Да иди ты, Паня! Какой новай! Ето вить Степка! Лабух етот ресторанный! У йо их многа было... и етот – не последний!

Санька молча стоит перед керосинкой. Темные волосы гладко зачесаны, будто маслом намазаны. Огромные, как розетки для варенья, глаза прикрыты тяжелыми полукружьями век. Пухлые губы густо намазаны сиреневой помадой. Она слушает и не слышит. Она не хочет слышать. Уши слышат сами. Слезы сами льются. По широким скулам. По голодной тарелке лица. По торчащей из белого кружевного воротничка журавлиной шее.

«Что молча стоит? Терпит? Отбрехалась бы...»

Санька не собака. И соседки не суки.

Топ, топ – обратно по коридору. Чуть не сбиваю с ног соседку Тамарку. Из приоткрытой двери в комнату Тамарки – резкий, надсадный крик младенца.

– Заполошная! — шипит мне в спину Тамарка. И тут же ангельский голосок в полутьму льет:

– Щас, щас, моя прекрасная детонька... щас мама примус выключит и покормит свою крошечку...

Я уже перед мамой. Задираю лицо. Я само послушание. Мама уже успела одеться. Как на парад; как на демонстрацию Первого Мая. Платье темно-бирюзового атласа, по ткани рассыпаны блески-салюты. «Как на Красной площади. В день Победы». Между грудей тугая атласная роза. На смуглой шее нитка черных кораллов. Я знаю, в ящике под зеркалом есть еще и связка красных кораллов. Черных я боюсь. Они похожи на козьи катышки.

– Садись.

Венский стул. Тонкий выгнутый лук спинки. Дерево намазано морилкой. Черный круг сиденья: такой репродуктор у тети Дуси в Куйбышеве. Раньше Куйбышев звали: Самара. Он раньше был женщиной. Сажусь. Зажмуриваюсь. Сжимаю зубы и губы. Сейчас начнется пытка.

Мама берет острозубую расческу и вонзает зубья мне в тонкие, спутанные после сна волосы. Слишком легкие у меня волосья, пух-перо. Мама ругается: «Вся в Крюковых! Была бы в меня – щетками бы причесывалась, гляди, какая гущина!» Я всегда дивлюсь на мамины волосы. Черные, тяжелые, густые. Как у Шемаханской царицы.

Может, она и есть царица? По ошибке в наш день забрела. А я – даже не царевна. Я царицына служанка. Смирненно голову склоняю. А мне ее дерут, дерут.

– Ай! Ай!

– Что дергаешься! Не устраивай мне тут пляску святого Витта!

– А кто такой... святой Витт?.. Ай-яй! Больно же!

Расческа жестоко продирает волосы, выдирает их с корнем. Мать смотрит на часы: опаздывает. А ведь еще завтрак. Из кухни вкусно пахнет кофе и жареной колбаской. Ага, понятно: сварен в кофейнике кофе с молоком, как папа любит, и зажарена яичница с колбасой. На скорую руку. Мама не любит варить на завтрак каши. Не успевает: их варить очень долго. Надо встать на час, на полтора раньше.

– Сиди тихо! Несчастье с этой девчонкой!

Капроновая лента ползет из рук стеклянной елочной змеей. Мать крепко вплетает в волосы ленту, и я слышу, как она беззвучным шепотом ругается.

А потом громко возглашает, во весь голос:

– Вот возьму и постригу завтра эти колтуны! Устала! Мука какая!

Две тощих коски сиротливо торчат по обе стороны красного, готового плакать лица. Вижу себя в зеркале. Зеркало огромное – от потолка до пола. Под окном в мир наоборот, где отражаемся, ходим и живем все мы – мама, папа, я, мои рыбки и моя черепаха, ряд выдвижных ящичков: внутри бусы и календари, пустые картонные пудреницы и колоды карт, пустой пузырек из-под таинственного лекарства «ПАНТОКРИН» и странные стекляшки с проводочками; папа говорит – это если в телевизоре что-то сломается внутри, эти лампы можно вставить, и он снова заработает. Лампы. Эти козявки мало похожи на лампы. Но, значит, бывают и такие.

– Все!

Мама легонько бьет меня ладонью по затылку. Коски взлетают и опадают. Уши торчат. По лицу рассыпались, как клубника из решета, красные пятна.

– Ну что? Что губенки распухли? Плакать хочешь? — Голос у мамы уже веселый, ласкающий мою гладко причесанную голову и изошедшую болью душу. — Живо за стол! Я сейчас!

Слышу, как каблучки мамы стучат по коммунальному коридору. Схватила поднос и на кухню. Дома она никогда не ходит в тапках. Только – в туфельках. И в халатах тоже не ходит. Только – в платьях. Смеется: «Не люблю обхалачиваться! Я не старуха!»

О нет, она не старуха. Она очень, очень, очень красивая молодая женщина.

Красивая, как царица.

Несет из кухни царица на вытянутых руках алюминиевый поднос, а на нем – зеленый железный кофейник, сковорода с яичницей, и хлеб уже порезан.

Дверь ногой открывает.

– Коля! Вставай!

Папа нежится на диване. Глядит на маму, как кот на сметану.

– Коля... валяется!.. помог бы...

Отец, как подоженный, вскакивает. Выхватывает из рук у мамы поднос. Осторожно ставит на стол.

И я вижу, как над едой этой людской, над нашим завтраком на скорую руку, целуются, забыв все на свете, весело целуются они.

И вот мы сидим вокруг стола.

Стол круглый. Как Солнце. Как Луна. Как круглая салфетка бабы Наташи, которой покрыт телевизор «Рекорд». Как велосипедное колесо – оно висит в коридоре на гвозде, и, по слухам, это у грека Сократа раньше был мировой трофейный велосипед, а он его по частям в преферанс проиграл.

И мы едим нашу еду.

Мама разрезает яичницу прямо в сковороде большим кухонным тесаком, мясным ножом. Папа разливает в чашки кофе. Он сварен по-венски – сразу с молоком, поэтому цвет у него розовый.

– Мама, я не буду кофе! Тут молока больше, чем кофе! Пенка на нем!

– Ах, пенка...

Угрожающе высверкивает в руке матери громадный нож.

Отец примиряюще говорит:

– А я ложечкой размешаю – и вся пенка сразу пропадет! Гляди!

Он размешивает в моей чашке сахар золоченой ложкой с витой, по спирали закрученной ручкой. Ложка – подарок бабы Наташи. У нас в доме много чего – подарки. Почти все. Возьмешь вещь в руки – а ее уже кто-нибудь подарил.

Быстрее жевать подкаленный лапоть колбасного круга. Живей! Торопись!

И хлеб с маслом не доест невежливо. И сиротку-яйцо оставить в пашотнице, рядом с серебряной солонкой. И выкатиться из-за стола, как ошпаренной.

– Мама, я все! Мама, где моя шубка?

– Ты сама должна знать, где висят твои вещи! Ты уже взрослая девочка!

Я уже взрослая девочка. Это надо запомнить.

Каждый вечер я это помню. Каждое утро об этом забываю.

Ноги всунуть в валенки. На валенках – лаково блестящие, сажево-черные, с красной бархатной внутренностью, калошки. Черные рыбки. Плывут по зиме. Шуба цигейковая, серая; шапка тоже, с пришитыми мамой нелепыми меховыми ушами из кусков заячьего меха, выпрошенного у Саньки-итальянки. У Саньки от шитья много лоскутьев остается. Она нам даже для кукол дает, чтобы их модно одеть.

Цап – портфель. Цап – из маминых рук – яблоко.

В школьном буфете будут кормить тоскливым завтраком: перловка, чай, — но яблоко в портфеле – это святое.

– Спасибо! Бегу!

– Беги! — кричит отец и машет мне над головой двумя руками – будто в кулаках у него два флажка, и он на палубе корабля, военного эсминца, а может, линкора, а может, сторожевика. И передает сигналы.

Как сигналы мне разгадать? Я не знаю флажного морского языка.

Я читаю в папиных глазах: «Дочка, беги, люблю тебя».

Зимняя улица кладется под ноги колючим ворсистым белым ковром, по нему, наверное, больно ступать босыми ногами, снег обжигает, – а так хочется! Хочется – по снегу – босиком; всегда мечтала! Но этого нельзя. Как нельзя и многого другого. Маленькая жизнь, а такая огромная связка запретов. Как связка баранок на локте у булочницы Светы из красно-кирпичной, как казарма, булочной на углу улиц Гоголя и Карла Маркса. Эту баранку нельзя; и эту сушку тоже нельзя. А вот эту – можно.

Понемножку. По кусочку.

«Не наемся никогда. Этого неба. Этого снега. Этого белого, белого, пушистого хлеба. Сахара ослепительного, алмазного».

Бегу. Минуты бегут со мной! И валенки бегут, помогая упругостью, веселым теплом. За мной увязываются окрестные собаки. Так всегда, когда бегу в школу. Они выбегают из дворов, из проулков, из подворотен, из подъездов навстречу мне. Мне, кому же еще?!

«Так они любят тебя. Полюби их в ответ!»

Наклоняюсь. Треплю за уши. Приседаю перед собаками на корточки. Катаюсь, валяюсь вместе с ними на снегу. Они, балуясь, нарочно кусают меня за калошки, за локоточки шубы.

– Шубку мне погрызете, дурачки!

Беру огромного лохматого пса за длинные, рыжие висячие уши и целую в нос. Так вкусно нос у него блестит. Вот видела бы мама, вскричала бы на всю улицу: «Зараза! Брось! Отойди! Фу!» — мне, как собаке.

Пес – в ответ – лижет мне лицо длинным, теплым розовым языком: наждак, а мягкий. Как прекрасно, как тепло и горячо живое. Жизнь.

Мохнатая, лобастая, шерстяная, широколапая, грубо лающая прямо мне в лицо жизнь. Как же я люблю тебя. Как же...

Полижи еще мне щеки. Поцелуй. Дай и я тебя прямо в морду поцелую.

Бежать сломя голову! Без двух минут восемь!

И вот они, высокие потолки огромного длинного класса, похожего на пенал. В пенале – ручки и карандаши, а в классе – дети: худые карандаши, толстые ручки, мягкие ластик. И учительница ходит и диктует, и все пишут, но не слышат. А она говорит, говорит. Говорит в пустоту, в белое бельмо зимнего окна. И вдруг солнце в окне! И алмазные морозные искры сыплются от ледяных хвощей и папоротников к седым волосам говорящей, добавляя в пряди серебра.

Чистописание требует осторожного обращения с чернилами. Не ляпни! Не посади кляксу! Не нажимай слишком сильно – процарапаешь пером бумагу! Веди линию ровно, не сбейся на сторону! Скопируй букву точно – видишь, она сияет, белая, на черной доске? Не можешь?! Ну какая же ты тогда ученица!

Учительница склоняется надо мной. Поправляет ручку в моей ледяно зажатой руке. Холодно. Я ежусь под коричневой формой. Свободной рукой поправляю на груди оборки черного фартука. Перо тоже замерзло. Перо выводит закорючки и палочки помимо меня. Само по себе. Я с изумлением наблюдаю его святой ход по снегу бумаги.

И теплые сдобные булочки в столовой: ура, перловки сегодня не будет! Булочка, золотой брусочек масла и чай. Чай горячий и сладкий, а булочка пахнет печкой бабы Наташи. У нас дома нет печки. У нас – батареи. Зимой часто они холодные. Тогда мама звонит в котельную и возвышает голос – пугает гневным голосом истопников.

И уроки бегут, свиваются в венок событий, чисел, знаков, их надо сначала разгадать, потом запомнить. Свобода наступает неожиданно и счастливо. Собак на обратном моем пути из школы нет: спят где-нибудь под крыльцом? Или едят?

Собаки ведь едят, как люди. Обедают. На обед у них косточка с мясом.

А у нас на обед просто чудеса какие-то: папа достает из холодильника миску с холодцом, ставит на стол кастрюлю с горячей ухой – я чую запах рыбы не хуже кошки, — а на второе – ура! беяши! правда, холодные, но это наплевать! — такие прекрасные кругляши из теста с сочным мясом внутри; а в центре стола ваза с вареньем, и в нем столовая ложка торчит!

– Папочка, это же просто пир горой!

– Да, лапонька, да! — И руки потирает. — Обедаем без мамы! Мама в больнице! Вернется только завтра утром.

– Почему?

– Дежурит. В ночь.

– А рыбка откуда?

– Пока ты в школе занималась – я на рыбалку сходил! На Оку, на Слуду! Вот на ущицу надергал...

Мы с папой, значит, хозяйничаем сегодня. Мамы нет. Когда дома нет мамы – словно огонь гаснет под потолком, все лампы в люстре перегорают. Без мамы я слышу внутри себя тихую печаль, как тихую музыку. Меня учат музыке: вон оно, мое пианино светлого дерева, польское, фирмы «LEGNICA» — в углу гостиной. Мы богатые внутри бедной дымной и табачной коммуналки. У нас две комнаты, а у всех только по одной. И нам завидуют. Говорят: «Вон, вон там художник живет с семьей. Барин». И в голосе презрение, будто бы папа не художник, а мусорщик.

Беляши вчерашние. Варенье прошлогоднее. Папа ест варенье столовой ложкой, зачерпывая сразу много, щедро, и ему никто под руку не скажет: «Коля, ты зачем варенье ешь, как крокодил?» Время течет по капле, время льется крепким чаем, время распахивает папины объятъя, и я вхожу в них и залезаю ему на колени. Так сидим, после обеда, под присмотром времени: большой теплый мужчина, с лицом светлым и румяным, с волосами светлыми и пушистыми, и на сильных мощных руках нежный золотой пушок, и маленькая девочка, и одна коска расплелась, и капроновый бант развязался, и прозрачная хрусткая лента свисает до полу, как гиричка ходиков.

Я – часы. Я сама – время.

Только я еще не знаю об этом.

И правильно. Нечего знать то, чего знать не положено.

– Лапунчик мой, – отец качает меня на коленях, как в рыбачьей лодке, — понежились, и хватит! Ухожу в мастерскую. Ты тут не забоишься без меня? Посидишь вечерок? Уроки поделаешь? Почитаешь? С медведем поиграешь?

Я гляжу на плюшевого медведя. На голову медведю надет мамин фетровый берет. Для красоты. Медведь разевает красную тряпичную пасть и смеется мне.

– Поиграю.

– Ну и славно. Проводи меня!

И я собираю отца, провожаю его, как взрослая – так, как провожала бы жена мужа на войну, как провожают в дальний тяжелый поход: кладу в сумку бутылку кефира, пачку печенья, нарезаю ломтями хлеб и колбасу, заворачиваю бутерброды в промасленную бумагу. Помогаю ему влезть руками в рукава фланелевой клетчатой рубахи. Я вижу: он солдат, а я санитарка. У него ранена на войне рука, и я перевязываю ему руку мысленным, белым, воздушным, пропитанным слезами бинтом.

– Папа... Папочка... Я очень люблю тебя.

– Я тоже очень люблю тебя, доченька моя.

Он целует меня в пробор, заботливо завязывает на косе бант.

– Ты вернешься... — Я задаю взрослый вопрос. — Трезвый?

Отец мрачнеет. В моем голосе, я знаю, он слышит голос мамы.

– Я же сказал тебе – я иду ра-бо-тать. Ни с кем не встречаюсь. Не выпиваю. Сегодня праздника никакого нет. Ну и...

– Прости меня, — говорю я, поднимаюсь на цыпочки и целую его в выпирающую из-под ворота рубахи ключицу. — Я больше не буду. Я просто не люблю, когда от тебя пахнет водкой.

– Я сам не люблю.

Надевает берет перед зеркалом. На затылке у берета шерстяной поросычий хвостик. Зеркало отражает родное лицо: усы пушатся, улыбка плывет и вспыхивает, веселые зубы скалятся и гаснут, морщины взбегают на высокий лоб – глядя папин огромный лоб, мама почему-то всегда нежно говорит по-французски: «Сюрмонтэ э волонтэр», — на щеках играют желваки, внутри тела играют, перекатываются мышцы и нервы, он еще молодой, он еще сильный, все еще впереди. И сто грамм не помешают. И двести. И даже пол-литра.

Сумка на плече. Он целует меня в щеку и удивленно восклицает:

– Дочь, да от тебя пахнет псинкой!

– Я с собаками играла!

– Лучше на пианино поиграй...

Стук двери, как стук молотка: гвоздь забит.

А отец вздрагивает, когда громко стукнет дверь. Ему кажется: это выстрел.

Он ушел, и я одна.

Отец ушел, и я одна, и надо делать дела, а когда остаешься одна, их делать не хочется. Думаешь: лучше ничего не делать, пять минут, десять, полчаса! Такое наслаждение не делать ничего! Падаю животом на диван, в руках – мамина шкатулка с драгоценностями. Перебираю: вот клипсы с разноцветными камнями, вот клипсы-жемчужины, вот низка красных кораллов, они жгут мне кончики пальцев, когда я их трогаю. Вот золотое колечко с крупным рубином: это папа подарил маме, я знаю.

Но я не знаю, что мои родители не женаты.

Они живут вместе, но не женаты.

Хотя, конечно, они муж и жена, кто ж спорит?

Слишком много у людей правил, которые я еще не выучила в школе.

Долго, долго перебирать украшения матери. Спohватиться: а время?! Оно идет, его не остановишь! На улице темно. Чернь, сажа за ледяно посверкивающими окнами. Черный телефон молчит. Мама из больницы не звонит. Надо включить еще настольную лампу, чтобы было не так страшно. Мне кажется, как всегда вечером, что из-под дивана вылезет красный треугольник, завернется в трубочку, хищный язык, и обовьет мягким жаром мне руку. Яркая люстра, гони чертовщину!

Свет включен везде и всюду. В гостиной и в спальне. Все горит и пылает, и я одна. Нет! Со мной музыка!

Сажусь заниматься. Завтра на урок в музыкальную школу. Этюды Черни, этюды Мошковского. Инвенции Баха. Сонатина Клементи. Легкая соната Моцарта. Какие красивые имена у этих композиторов. А вот еще сладкое, сиропное имя: Мендельсон-Бартольди, «Песня без слов». Как это – песня без слов? А я придумала слова!

Играю и пою, что в голову взбредет:

— *Плыву я в легкой лодке —*
Ты солнце лови!
Плыву я в легкой лодке
Навстречу любви...

Пальцы поднимаются и опускаются. Пальцы грызут и прогрызают клавиши. Внутри пальцев натягиваются и загораются тонкие длинные волокна, по ним горячо и опасно течет музыка: чем дольше я играю, тем свободнее она течет, и вот я достигаю момента, когда я свободно дышу, руки великолепно и свободно летают над клавишами, ноты отдувает нездешний ветер, и я слышу и вижу все то, что невозможно услышать и увидеть в обычной жизни. Волосы будто вздувает вихрь. Спину царапают когти мороза. Зеркала передо мной нет, но я знаю, глаза горят. Может, я уже огонь? Кто меня потушит?

А пианино деревянное; оно того гляди загорится под руками.

Бетховен, это Бетховен. «Лунная соната». Первая часть. Ночь за окном. Ночь над городом Горьким. Горький город, а раньше был город Нижний. Горький, Нижний. Горечь и низы. До-диез-минор, под пальцами поет сердце человека, что оглох, не слышал музыки и умер давно. Очень давно. Когда меня еще не было на свете.

А когда я – стала быть?

Запястья занемели, устали. Я выдохлась. Семь потов сошло. Играть на фортепьяно только с виду легко. Клавиши такие тугие, не прожмешь. И на педали ногами надо нажимать. У меня ноги не достают до педалей, и под ноги я подставляю себе скамеечку. Ее папа сколотил из распиленных подрамников.

Все, надоело. Хватит. Музыка обрывается, серебряная нить. Будто порвали леску ожерелья, и рассыпались бусины. Теперь их найдут мыши. Или крысы. Мы живем на втором этаже двухэтажного деревянного дома; к жителям первого этажа крысы приходят – к тем,

у кого нет кошки. Моя черепаха лучше кошки: она молчит и смотрит добрыми печальными глазами. Она говорит глазами: «Я все равно усну, а когда усну, не будите меня».

Я вылезаю из-за пианино. Осторожно закрываю крышку. Прокрадываюсь в кладовку. Нюхаю рыболовецкие снасти отца. Пахнет рыбой, песком, солью, табаком. Потом лезу в шкаф. Там папины краски, кисти, эскизы, этюды на квадратных картонках. И запах тут другой: смесь скипидара, льняного масла, растворителя по кличке «пинен», подсыхающей, засыхающей, умирающей плоти плотных, упругих, толстых мазков. Этюдов много, они лежат штабелями и стоят стоймя. Я беру их в руки и раскладываю на столе, как игральные карты. Царапаю ногтем засохшую масляную краску. Синее, алое, белое, болотное, ржаное, медовое, золотое, грязное, чистое мешается, переливается, вливается одно в другое, рябит и пестрит, и бьет по глазам, и полосует цветными плетьюми лицо. Мир – цвет. Мир – боль. Мир надо запечатлеть, оставить. Отец оставляет его. Для кого?

Дикая мысль пронзает: если отец умрет, все этюды выбросят на помойку.

Как выбросили на помойку картины Льва Францевича Литвинского, когда его мастерская сгорела. Я видела: они лежали около мусорных ящиков, и никто их не подбирал, не собирал, как грибы.

«Нет! Мама спасет! Мама все сохранит!»

Пляска красок перед глазами – не остановить. Я закрыла глаза. Вскочила со стула. Накрыла все этюды шелковым китайским покрывалом – сдернула с родительской постели. Покрывало зеленое, атласное, изумрудное, по нему плывут вышитые серебряные лилии и снежные хризантемы, летят золотые птички, раскрывают клювики. Мне оно кажется царской роскошью.

Музыка музыкой, а голод не тетка! На подоконнике сковорода, и, приподняв чугунную крышку, лезу в нее за холодным беляшом. Съела – и нахально вытерла жирные пальцы о байковый халатик. Лень полотенце взять? Это не лень, а легкий, как мятный морозец, страх. Натянула на ноги толстые вязаные носки. Дрожу. И стекла в пазах дрожат: по мостовой протарахтел грузовик. Он везет в кузове души умерших, души ушедших. Куда? В лес под елку? Под лед на реку? На вершину горы, под черные облака? Колеса трясутся на бульжниках. Это земля, а не Рай. И никого не спасут. Хоть я сейчас и в Раю живу.

Только я не знаю об этом.

Шуршание. Я вздрагиваю. Пот течет по спине.

Это моя черепашка медленно, важно идет у меня под столом, под ногами.

Тыкается головой мне в щиколотку.

Я беру ее в руки, глажу, дышу ей на панцирь.

– Ты моя милая... ты моя хорошая... живая...

Все живое. Папины этюды живые. Они шевелятся и горят. Часы живые. Морозные узоры живые. Свет мигает. Ноты ползут со страниц, с сумасшедших нотоносцев. Мне страшно. Мне больно!

Раскутала этюды, как младенца распеленала, пупса резинового, сыночка. Вернула покрывало на кровать. Взмахнула им, и вспыхнуло оно лучом зеленым, морским.

Подхожу к зеркалу, медленно и важно, ступая, как царевна. Мне не страшно. Мне не больно. Я царевна, дочь красивой царицы. У меня в сундуках сокровища. Я живу в Раю, и Райские деревья надо мной, вон качаются в окне, сыпают на меня серебряную пыльцу, и золотые и синие Райские бабочки садятся мне на плечи, и я не отгоняю их. Вокруг меня музыка, вокруг меня все звучит, поет, дышит и хорошо пахнет. В Раю я всегда сыта и любима. У меня всегда есть в Раю на завтрак кофе со сливками, на обед – куриная котлетка, а на ужин, по праздникам, бутерброд: белый хлеб и паюсная черная икра. Икру мама покупает на хитром рынке по десять рублей килограмм. В Раю обязательно должна быть икра, как же без икры? Это любимая пища ангелов.

Из зеркала на меня глядит царевна. У нее расплелись косы, расстегнулся халатик, и из-под халатика смешно, врастопырку, торчат худые ножки в шерстяных зимних чулках и отороченных мехом тапочках. Царевна приседает на корточки, и я приседаю. Царевна берет с зеркала связку маминых поддельных жемчугов, и я беру. Царевна вывинчивает пробку из пузырька духов «Красная Москва». И я, неотрывно глядя царевне в глаза, прикасаюсь хрустальной пробочкой к мочке уха, к тощей шейке, к подбородку, к яремной ямке над расстегнутой перламутровой пуговицей халата.

Царевна надевает на шею жемчужные ледяные бусы, и я надеваю.

Царевна любит меня, а я – ею.

Мы довольны друг другом.

Мы улыбаемся друг другу.

И потом я перестаю улыбаться – губы устают, и опять дрожь и страх щекотят сердце, а она продолжает улыбаться мне из зеркала, продолжает, продолжает.

И я отворачиваюсь. И зажимаю ладонями сначала глаза, потом – почему-то – уши.

Чтобы не слышать, что царевна мне сейчас скажет.

Но она молчит. Молчу и я. Мы обе молчим.

Мама в больнице. Папа в мастерской. Они работают. Трудятся. А я лентяйничаю, я ребенок, мне можно.

А я – ребенок или кто?

КТО Я?

Страшно и весело от вопроса, заданного самой себе. Волосенки шевелятся, коски приподнимаются с плеч. Кто-то невидимый, больше и сильнее меня, их тянет вверх.

– Чепа, — говорю я черепахе, — ты там не молчи под столом! Ты скажи мне что-нибудь!

Черепаха молчит. И я молчу.

Нам нечего сказать друг другу.

Все уже давно сказано за нас: тем Большим и Сильным, кто висит под потолком, под люстрой, и тихо трогает меня за тонкие нити спутанных нежных волос.

Что бы придумать, чтобы не было страшно?

Руки, отдельно от мыслей, уже открывают дверцы шифоньера. Там покойно и мирно висит мамина и папина одежда: костюмы, пальто и шубы, и рубахи на деревянных плечиках, и твидовые пиджаки, и вязаные юбки и кофты, и мамы летние платья из шифона и креп-жоржета, неприлично прозрачные, и под них мама сшила нижние юбки из чистого белого льна, чтобы не просвечивали ноги. Ноги у мамы красивые, очень красивые. Как у лежащей и спящей нагой женщины в альбоме отца «Диего Родригес да-Сильва-и-Веласкес. Живопись». Под спящей красавицей – надпись: «Венера перед зеркалом». Ангелочек, лукаво склонив головку набок, держит перед женщиной туманное зеркало в деревянной раме. Осеннее, дождливое озеро зеркала. Ветер и рябь. Стекло запотеваает от вечного дыхания. В зеркале отражается лицо.

Это лицо матери.

Мамы, кого же еще?

Мама жила всегда, и Веласкес ее писал с натуры.

А потом на ней женился папа. Через триста лет.

Мамина шуба из золотистой китайской земляной выдры, совсем новенькая, пахнет зверем. Мамины парадные костюмы пахнут духами «Серебристый ландыш». На полочке лежит мыло – от моли.

И еще коробочки, коробочки, деревянные ящички, кожаные крохотные, как жуки-навозники, сумочки; и похвальные грамоты, закрученные в трубочку и перевязанные цветными лентами; и огромная страшная книжка с обгрызенными мышами краями – «Офталь-

мологический Справочник», если ее открыть, то со страниц в тебя ударят дикие, жуткие глаза – уродливые ячмени, зернистые веки, будто красным рисом обсыпанные, и подпись: «ТРАХОМА», и россыпь гравюр по желтой, как церковный воск, бумаге: колющие и режущие инструменты – ими выковыривают из-под лба большие, нежные глаза, – ножи, скальпели, ножницы, расширители, зажимы, — мама зовет их кукурузным словом «корнцанги», — пинцеты, иглы, лезвия. Я слышу в ушах крик точильщика, он приходит к нам во двор по воскресеньям с громоздким наждаком на плече: «Точу ножи-ножницы!.. Точу ножи-ножницы!..» — и зажимаю руками уши.

Оглядываюсь. Кто смотрит на меня?! Хватаю себя руками за локти. Локти трясутся. Я смеюсь над собой, нарочно смеюсь, и, чтобы увидеть свой многозубый, страшный смех, оборачиваюсь к зеркалу. На деревянной зеркальной полочке лежат красной змеей, свернувшейся в злую спираль, мамины коралловые бусы. Я сама их сюда положила. И забыла. Они отражаются в зеркале. Отражается пузырек «Красной Москвы». Отражается мой дикий игрушечный, неправдашный смех. Я же смеюсь понарошку. Шифоньер такой серьезный. Он огромный, как дом, в нем можно жить. Если буду продолжать хохотать, мне от него попадет.

Умолкаю. Встать на цыпочки, вот так. Вытянуться еще сильнее. Дотянуться. До чего? Нет, правда, только тянуться вверх; вверху страха нет. Там – полка. Верхняя. И там лежат большие толстые книги. Вон, торчат корешки.

Книги? Разве это книги?

Ну вытянись сильнее! Выгни спину! Все равно не достать.

Я беру стул. Взбираюсь на него. Я стою не на деревянной плашке: на спине коня. Четыре ноги, конь скачет подо мной, и я артистка цирка. Но-о! Покачнулась. Взмахнула руками. Чуть не упала. Скользкий паркет. Мама натирает паркет мастикой. А папа потом надевает на башмак мохнатую большую щетку на ремне и трет, трет, трет. До блеска.

Тяну руки к книгам-великанам. Ох, какие толстенные, не ухватишь! Беру ту, что лежит сверху. Под ней – еще две. Я никогда не видела таких громадных книг. Про что же в них написано? Может, это сказки? А может, это церковные книги, и буквы в них древние и изогнутые, смазанные золотом, и пахнут воском и мышами?

Тащу книжищу на себя. Тяжела! Не удержу! Спускайся тихо, спокойно, Лена, спускайся. Сердце слишком сильно бьется. Так оно бьется только ночью: когда внезапно проснешься – а кровь – толчками в ушах, звенит оглушительно, и одна только мысль: умру, умру, и я тоже умру. И этот молот в голове – предвестник смерти, далекое предчувствие ее.

Ноги согнулись и опустили меня на пол вместе с книгой.

Я бережно положила ее на мамину кровать. Ласково погладила: мол, не бойся, успокойся. Я боюсь больше, чем ты.

Опять залезла на стул. Стащила с полки вторую. Кажется, она была еще толще и массивнее. И застегивалась на золоченые крючки и странные ремешки.

Лежат сестренки рядом – одна и другая.

Одна – кокетка: кожаный переплет, золотые уголки. Другая – старуха в синем панбархате, да бархат истлел, повытерся.

Третья осталась. Там, наверху.

Я ее тоже сниму. Сейчас.

Уже ловко, по-обезьяньи, я забралась на стул, схватила третью книгу. Она была празднично одета, укутана в ярко-алый, цвета знамени, плюш.

И тут ножка стула тихо, чуть слышно хрустнула и поплыла, скользко и коварно поехала в сторону, и вместе со стулом, превратившимся в лодку, поплыла и я.

Мы падали все вместе: стул, я, книга, шифоньер.

Когда мы все упали, я обнаружила: шифоньер на месте, зато книга щедро раскрылась, и из нее в разные стороны, вокруг меня, мимо меня, сквозь меня высыпались, рассыпались

призрачными веерами серые, белые, коричневые, черные, глянцевые, зернистые, тусклые, рваные квадраты бумаги. На квадратах двигались и плясали, и замирали, и горбились, и плакали фигуры; это были люди, только совсем крошечные, как муравьи.

Лежа на полу, в обнимку с раскрытым альбомом, облаченным в краснознаменный плюш, я вспомнила, я догадалась: это фотографии.

Я и фотографии – мы лежали на полу, как на пляже летом, и рядом с нами лежал сломанный безногий стул, калека, сам себе костыль.

Я выползла из-под деревянных обломков и, отряхиваясь, как собака, встала с пола. Подобрала альбом. Сгребла в кучу все выбежавшие на свободу фотоснимки. Затолкала в разваленную пасть плюшевой книги. Положила рядом с теми двумя.

Теперь они лежали на кровати все три: кожаная, сине-бархатная и плюшевая, красная.

Я встала перед кроватью на колени. Я знала: на колени старые бабушки в церкви встают, когда молятся. Но так было удобней всего. Я опять погладила кожаный переплет альбома, что я вытащила из шкафа первым. Он будто ждал этой ласки, я ощутила теплоту старинной телячьей кожи и странную, тихую и нежную дрожь внутри себя. Сейчас я открою ЭТО. Что – это? Книгу? Альбом? Чужую жизнь? Там – лица? Там – старые одежды и старые дома? Старые корабли и старые повозки? А может, я открою сейчас то, чему я пока имени не знаю, а пройдет время – и слишком, слишком хорошо узнаю его?

Руки протянулись сами. Может, это черепаховая кожа? Чепа, ты умрешь, и тебя освежут, и твоей кожей – что?.. обтянут мою... чужую... давно мертвую жизнь?

Обтянут – мою смерть?

«О смерти запрещено думать. Никогда не думай о ней».

О времени – можно, а о смерти – нет.

Почему? Я уже видела, как умирают звери. И я видела, как люди хоронят людей.

В гробах люди лежат спокойно и радостно, они спят. Только не проснутся никогда.

Я открывала альбом, как – шкатулку с сокровищами. Как – гробницу, раку. Как – гроб.

Гроб, в котором спало ребенок-время в хрустальной колыбельке; и мне надо было оживить его, вытащить наружу, вывести за руку из темницы на свет, я это понимала.

Еле-еле, с натугой, отогнула тяжелая обложка.

Еле-еле перевернулась плотная, как жесть, картонная страница.

Из-под картона вылетела большая жирная моль, с нее посыпалась золотая и серая пыльца мне на руки, на мамино постельное атласное покрывало. Китайское зеленое покрывало, вышитое огромными хризантемами и золотыми птицами.

Я ударила ладонью о ладонь. Раздался громкий хлопок. Я моль не убила. Улетела она.

Стоя на коленях перед супружеским ложем моих родителей, я глядела на первую страницу первого альбома, открытого мной, и на ней было тщательно выведено чернилами, тонким пером, крупными, как жужелицы, буквами:

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ КРЮКОВ
РОДИЛСЯ В 1918 ГОДУ
НО ЭТО НЕВЕРНО
ПОДДЕЛАЛ СЕБЕ В ПАСПОРТЕ ДАТУ РОЖДЕНИЯ
СТАРШЕ НА ТРИ ГОДА
ЧТОБЫ ВЗЯЛИ НА ФЛОТ
А НА РУКЕ ТАТУИРОВКА 1919

И мне в глаза ударила эта фотография.

Зажмурилась. Слишком яркий свет.

Свет – сквозь размытую, текучую воду, коричневую, грязную, чуть болотную, чуть шоколадную; гнется бумага, выгибается, рвется надвое и тут же склеивается, и шва не видать. Свет – по краям, по зубчатым краешкам: фигуры карие, а рамка белая, и не испачкали ее годы, не окровавили взрывы. Не залили бедную тонкую бумагу с призрачным отпечатком потока крови из раны пулевой, осколочной. Свет: лохматятся края, ломаются, как белое сухое печенье, бумага тает, истлевает, изображение на ней теряется и гаснет. Свет лампы гаснет. А свет моря?

Не порвешь. Не погнешь. Не состаришь.

Море, светлую воду, не вычерпаешь, не выпьешь никогда.

Свет брызжет в лицо. Квадратный кусок жесткой бумаги – уже металл. Уже ржавый бок подводной лодки; черная тяжесть якоря, спрятанного под носом корабля.

Эсминец? Линкор? Он вдали. Он вблизи.

Здесь. За скалами.

Свет заливает скалы. Свет бьет прибором в лица двоих.

Их сфотографировали тайком – они оба не знали о том, что их снимают, а я их взяли и сняли без спросу. Кто подарил им снимок потом, когда проявил?

Сначала подарили ей.

Той, что стоит, прижавшись спиной к скале. И брызги прибора летят ей в лицо. И смеется она.

А она передарила ему. Когда поняла, что он уезжает. От нее. Навсегда.

Как я могла об этом обо всем знать?

Колени заболели. Пальцы гладили молчащие лица на глянцевой коричневой дрожащей бумаге.

Лицо женщины. Брови – крылья чайки.

Лицо мужчины. Бритый лоб. Без бескозырки. бескозырка – в руках.

Парень, матрос, смущенно стоит перед смуглой женщиной, вдвое старше его. Она меньше его ростом. Она сонными, совиными, с поволокой, огромными глазами глядит на ярко сверкающую под солнцем медную пряжку его ремня.

Обвести пальцем ее лицо.

Потом его лицо.

Я сама рисовала их обоих живым пальцем; я видела их глазами, пальцами и руками. Как слепая. Мама рассказывала: слепые читают книжки по системе Брайля. Вместо букв – выпуклые шарики и точки, линии и узоры. Слепой шупает узоры и улыбается: так он видит. Слепому не нужен свет снаружи: он носит свет внутри себя.

Свет бил мне в слепое лицо. Я перевернула снимок. На обороте фотографии было написано беглым, нежно-бисерным, сходным с арабской вязью почерком:

С. Н. А. ПОМНИ ОБО МНЕ.

Опять перевернула фото. Свет, свет усиливался. Свет исходил изнутри фотографии и заливал мне лицо соленой морской водой. Черно-белой водой, чернь и белизна колыхались и дрожали, и коричнево-зеленые глаза, щеки и волосы женщины словно бы сквозь толщу воды просвечивали.

Я приблизила лицо к свету. Я хотела окунуть в свет глаза, щеки, волосы. Я уже слишком близко поднесла свет к лицу, и мои коски с капроновыми ленточками в них легко могли загореться. Я не боялась. Надо было приблизить свет еще, еще. Вот так. Пространство вокруг

меня раздвинулось, и я, вздохнув коротко и судорожно, как после долгого плача, вдвинула в движущийся, дрожащий, как вода, свет сначала лоб, потом горячее лицо, потом руки, потом осторожно переступила ногами, и голые руки мои, торчащие из рукавов старого байкового халатика, покрылись гусиной кожей. Шаг в свет был совсем не страшным. Я не поняла, как я шагнула ТУДА; мгновенное перемещение не понималось сознанием, зато отчетливо запомнилось зрячей кожей, влажным и важным биением крови, ударами звонкого бубна меж ребер.

Я вошла в фотографию легко и просто – так нож входит в ножны, так лекарство пьется большим и жадно запивается холодной, ледяною водой из жестяной кружки.

Вошла в свет и подумала: не ослепну?

Глаза пообвыкли. Увидели: матрос сделал к женщине шаг. И еще шаг. И еще шаг.

И женщина сильнее вжалась спиной в скалу. Раскинула руки. Отвернула голову.

Она не хотела, чтобы матрос ее целовал.

Матрос стоял уже очень близко к женщине. Дрожал и раздвигался, разымался и плыл коричневым, ржавым, мертвым воздухом. Живые волны катились, накатывались из синей, туманной дали. Парень взял женщину за руки. Нежно, робко. Будто руки у нее были фарфоровые. Или неживые протезы.

– Софья, — тихо сказал матрос. — Нас завтра вечером отправляют уже. Софья! Если меня убьют?

Прибой разбивался о скалы, как бутылка шампанского. И пена стекала. И воздух пьянел.

Софья медленно, запоминая, обводила глазами лицо молодого матроса.

– Если тебя убьют, — тихо сказала она, — я буду молиться за тебя, как за сына. За упокой.

– Бога нет, — кусая губы, бросил матрос. Ветер трепал черные траурные ленты бескозырки.

– Побойся Бога, Коля. Бог есть. Он был и есть всегда.

Софья подняла руки и сняла с шеи крестик на черном гайтане. Надела матросу на грудь. Заправила под тельняшку.

– Носи. Он спасет тебя.

– Да с меня, — он сплюнул на соленые мокрые камни, — его завтра же кавторанг дерет! И за борт выкинет!

– Не выкинет. — Глаза Софьи замерцали: так светится под водой ночной фосфорный планктон. — Он заговоренный.

– И я, что ли, заговоренный?! — Он уже нагло, страшно, отчаянно смеялся, все зубы показывая. — И меня – не убьют?! Да там бойня! Там – всем – конец! Там... месиво...

Скрипнул зубами. Женщина провела ладонью по его щеке.

– Коленка. Гладко вон как побрился. Это ты... для меня?..

– Для тебя. — Он схватил ее руку. Прижался губами к ладони. — Сонечка! Ты меня...

– Я тебя не забуду, — просто и печально вымолвила она.

Губы дрогнули, и задрожали губы в ответ. Губы налегли на губы, и маленькая девочка впервые видела, как по-взрослому, неотрывно и долго, бесконечно, целуются взрослые люди. Нет, она видела, как радостно, вкусно и ласково чмокают друг дружку ее отец и мать; но то были поцелуи обеденные, утренние, вечерние, семейные, приветственные, прощальные, — такие привычные, так целовались все, и она сама тоже так умела всех целовать. Но тут двое таяли, текли и втекали друг в друга, и жалко и стыдно было подсматривать за ними, и жадно глядели глаза, не отрываясь, не закрываясь.

Девочка видела их, а они не видели девочку. Какая девочка? Зачем? Откуда? Она стояла перед ними на сыром песке, на омытой солью круглой серой, синей и черной гальке,

незримая, прозрачная; сквозь нее, ее ребра и личико, видны были скалы и волны. Женщина что-то почувствовала. Оторвала губы от губ матроса. Оглянулась. — Коля, — отвела ото лба прядь, ею ветер играл, — мне кажется, тут кто-то...

— Мы здесь одни. — Он снова притянул ее к себе. — Никого. Море!

Софья оглянулась.

— Да. Море.

И у самой кромки бешеного белозубого прибоя, в брызгах йодистой горечи и слезной соли, в виду безмерной и пугающей шири бессмертного гигантского, светящегося и вспыхивающего опала океана, они крепко обнялись, и уже не целовались медленно и нежно — безумно, задыхаясь, покрывали напоследок поцелуями щеки, лица, скулы, веки, лбы и брови, и руки и плечи друг друга, и матрос встал перед женщиной на колени, прямо на сырую шуршащую гальку, и впились в колени древние камни, и обвили крепкие руки, каменные мускулы тонкую талию, ощутив под бугристыми мышцами вянущую сухощавую плоть, и легло жаркое молодое лицо на нежный поживший, бьющийся под многими животами живот, так и не зачавший, не зародивший жизнь, а он так хотел ребенка от нее.

— Я так хотел ребенка от тебя! Если меня убьют, у меня на этой земле даже сына не будет!

Женщина стояла над ним, положив пальцы на его коротко стриженные волосы. Она улыбалась.

— Я стара родить. Тебе — молодая родит. После войны.

— Откуда ты знаешь, что я останусь жив?!

Вскочил на ноги. Схватил Софью в охапку. Тут же выпустил. Побежал. Побежал все размашистее, все быстрее, и галька осыпалась под подошвами башмаков. Развевался за плечами воротник. Напялил на бегу бескозырку, и рвал ветер черные, с золотыми буквами, ленты.

Девочка все стояла у скалы. Прибой заливал ее ноги в домашних тапочках с меховой оторочкой. Она не могла оторвать глаз от бегущего, убегающего навсегда. Он бежал от нее, и он не знал, что он бежит — к ней.

Свет густо и плотно, заливая золотым молоком одинокое побережье, вливаясь в пустую черную тоску зрачка, обнял Софью, девочку, далекую фигуру бегущего матроса; свет властно поднялся из морской глубины, чтобы сразу раствориться, вспыхнуть и исчезнуть, провалиться в нахлынувшую тьму — будто распахнули старый кованый сундук и смяли и затолкали туда, как грязные тряпки, океан, людей, камни, небо, мир.

— Папа, — я слышала, как чужой, свой хриплый голос, — я тебя узнала.

АЛЬБОМ НИКОЛАЯ

*мама Евдокия Семеновна
отец Иван Иванович КРЮКОВЫ
станция Марьевка Луганской области
1925 год*

Лапоть у тоби уместо лица, лапоть, Дуня.

А у тебя, Иван Иваныч, больно уж красиво лико-то! Всмотрися в зерькило! Ужаснесси. Ах, Дуничка. Дак я ж пошутыв. Шуткую я, впрочем. И не понять тоби. Никохда!

Где уж нам понять-то вас, Иван Иваныч. Вы этга, севодни зачем грязны сапоги надели? Я ж вам начистила. Вон, за печкой стоят. Вас ждут.

Эх, Дуничка! Умница ты у мене. Шо ж ты мене ране-то не сбрехала? Я б и правильный став сразу. Чистай. А то ж хрязнай. Ото ж? О це ж! Шахтер – вин и должен хрязнай бехать. Хиба прынцы мы!

Якой же ты шахтер, Иван Иваныч. Ты ж тильки тириконы насыпать помогашь. Лопатой помахивашь. Вот усе твае тут и шахтерство.

Ах, Дунька ты хлупая. Как у девках хлупая була, так и у бабах хлупая осталася. Кабыдто ты не знашь, шо я у шахту с рябым Матвей Филиппычем завжди спускаюся? И с фонарем. Усе чин-чинарем. Дунь, а ты шо у мене, опять брюхатая, чи шо? Вон оно пузцо-то торчит. Хлопчик там?

Девку хочу, Иван Иваныч. Хлопцы-то у нас вже есть. Я вить, не ругай мене тильки, плод хотела скинуть.

Як скинуть?! Ах ты стервь!

Не бей, Иван Иваныч. Выслухай сперва. Ну тошнит мене, рвет безбожно. Наизнанку выворачиват. Ить вить у нас с тобою трое мальцов вже ж. Хватит, думаю. И голод прямо животом чую, усими печенками чую. Говорять, голод у нас тут будэ, на Вкраине. У Луганске и округе. Так брешут.

У Луханьске, дура! У Луханьске, я ж тоби не раз и не два брехал! Ховоры правильно! А то у школу пийдешь!

Не пийду.

Пийдешь!

Не пийду.

Пийдешь! Раз я сказав – пийдешь! Давай про плод, шо стравить хотела, блядина!

Слушаюсь, Иван Иваныч. И пийшла я к бабке Заманихе.

Дак вить колдунья вона! Заманиха! Ах, язви...

Слухай, не перебивай усе время. Заманиха увидала мене на пороге – и сцапала за плечи, и развернула, як чучело, и ищо в зад коленом наподдала. Ступай, кричит, и к мене бильше не приходи! Ничого я тоби не исделаю! И матюгами.

И правильно! Умна Заманиха! Я ж ей щиколадных конфет в сельмаге куплю.

Купи, Иван Иваныч. Сделай Божескую милость, купи. Ох вона и рада будет.

А ты-то шо?!

А я-то то. Я до хаты приволоклася – и спать рухнула. Среди дня белого. И снится мене сон. Чудеснай. Да слушашь ли ты?

Слухаю, мать. Гутарь дале.

Вроде б як передо мной высокая така деушка. Уся у белом. Белое платте такое дивно, до пят. Вроде б як свадебно. И вот, девица этга к мене пидходит... а я вроде б як у постеле лежу. Больная. Больная я, чуешь чи ни?!

Чую, мать.

И шо думаешь? Девка этта, уся у белом, так за мной ходит, так уж ходит! И питье пиднесет. И из печи пирог вынет теплый. И разломит, и мене ко рту пиднесет. И с ложечки мене кашей кормит, с чугунка. И повязку мокру на лоб кладет, значит, шоб голова не болела. И шо думаешь? Вдруг рядом с эттой девкой у белом является ангел.

Врешь!

Як на духу, Иван Иванович, ангел Божий. И тож увесь у белом. И ангел девку ту за руку берет, к мене пидводит, ближе, ближе, значит, шоб я девку-то хорошохонько разглядела. И так гутарит ангел: ты, мать, мол, шо этто задумала, с абортom-то? То ж вить твоя дочушка, доня твоя, на свет рожденная, тобой, дурой, не стравленная в одночасье! Ты ж ее сохранила, дурында! И – выродила! А она тоби – на старости лет твоих – когда хворать будешь, и маяться телесно будешь, и точить слезу будешь, шо жизнь неправильно прожила, дура, — помощницей станет! Опорой станет! Надегой твоей станет, любименькой донечкой станет! Тебе – стару дуру – на спине своей у нужник носить будет, шоб ты облегчилась, дура! В лохани тебе купать будет, дуру! Расчесывать тоби, дуре, твои спутанны седые космы! Умывать в постеле твоей, потчевати с ложки! А ты ее – убить хотела, дура! Покайся, дура, а то хуже будет! И я а-ак с постели-то на пол сползу, кости старые свои як об пол тильки грохну! И перед ангелом тем – як мертвячка – застыну! Лбом у пол уткнута! Распласталась, ровно лягуха! Молиться хочу, а – не могу! И голос ангела эттово над собой слышу: не плачь, дура, не плачь, радуйся, ты – человека! – для жизни в соби оставила... ты...

Не плакай, дура моя... шо ревешь-то... не плакай...

Дак я вже ж и не плачу, Иван Иванович... Я – радуюся... Робеночек у нас народится... Донечку хочу...

И я хочу.

И Коленька хочет. Колюшке-то вить уж четыре годочка. Усе соображат. Все слова знат. Гутарит бойко. Тильки тут спужавси сильно. Залезли вони с Сереней на горячу плиту, на подпечек. Обожглися. Колька-то со страху и надул на плиту, а вокруг ево пар поднялси! Стоит увесь в пару, не зрит ничего, ножонки, стопочки-то пожег, и вопит на усю Марьевку: «Горю! Горю!» А Сереня жопку всю обпалил. Во всю жопочку волдырь вздулси. Я маслом льняным мазала. Щас зажило усе! А тебе, отец, и дела нет!

Ишо буду я у ваших бабьих заботушках копаться! Жопки, письки... «хорю, хорю»! Хиба ж сгорел!

Не сгорел.

И я у тоби, мать, ишо у шахту с потрохами не провалилси!

Не провалилси.

А эжли провалюся – плакать будешь?

А то. И поплачу. Как водитси. Как положено.

Рыжие, кровавые закаты над черными терриконами. Донбасс – слово бьет в колокол, ударяет в холодную щеку, слово звенит жестью на ветру; советское слово, сокращенное, из двух слепленное: Донецкий бассейн, а какой бассейн? – угольный, всем ясно. Угля завались. Из-под земли его шахтеры добывают.

Крови тут в людях, в семьях перемешаны: украинцы с русскими, поляки с евреями, татары опять же с хохлами – и немцы встречаются, да и казаки, полно в станицах казачьих семей, их же, станицы, сами казаки и основали при старых царях. Сейчас время советское, краснофлажное; и запрещено говорить и даже думать о царях. Не было их, царей, никогда. И весь сказ. Все это сказки для деток малых. Про то, как спит царевна на пухлых матрацах, а под матрацем – золотая горошина. Это Кольке такую красивую сказку Наталка Шевченко рассказала.

Какая у Кольки семья? Русская или хохлацкая? Не понять. Русские вроде по фамилии, Крюковы. А гутарют как хохлы. Особенно Иван Иванович, отец семейства. Ох и озорник! Горилку пьет – так после вся земля под сапогом его дрожит, так куражится. Голод, революция, выстрелы, разруха – а ему все нипочем. Выпьет – песенку голосит: «Внимание, внимание! На нас идет Германия! Французы ни при чем – дерутся кирпичом!»

В голод мать, Евдокия, не выдерживала – в отчаянье впадала: рвала на себе волосы, голосила, выбежав за ворота, на землю падала, землю ногтями скребла и ела: нечем кормить детей, молока в грудях ни капли. Нажевывала корку, в полотняный мешочек клала, в ротик малютке Кольке втыкала. Он чмокал, сосал, потом как выплюнет! Рожицу сморщит! Рот в крике кривится. Знаю, сынок, молока надобно тебе! Да нету молока!

Рвала лебеду. Из лебеды лепешки пекла. Морщились, а ели.

Друг, старый станичник, снабжал картошкой. Потихоньку, в карманах портков притаскивал Крюковым: пять картофелин – на пятерых. Мать, отец, трое малых. Над картохой дрожали. Гладили ее, грязную, будто детские головки гладили: нежно, осторожно.

Евдокия от голода падала, но чисто полы намывала, плахи дожелта ножом выскребала. «Эжли смерть придет – устретим у чистоте, и чисты будем перед Богом».

И однажды раздался на улице, близ их ворот, странный звон. Будто бы нежные колокольцы.

Дуня выбежала на крыльцо – и правда, ох, тройка! Как в святое, в царское время! Кучер на козлах. Остановились кони возле их избы аккурат. Евдокия ошалело опять в избу метнулась.

– Иван Иваныч! Иде ты!

Тишина. Ушел.

С друзьями, сволочами, пьет?! И откуда они горилку ту добывают?!

Хлеба нема, а они – с горилкой в обнимку... горе заливают...

Вынеслась ветром к воротам. Из повозки уж люди вылезали. Парочка, гусь да гагарочка. И важные, дородные. Гладкие, сдобные! Он – павлин, она – павочка. Пан и пани, понятно. По-польски гутарют. Ах, поляки мимоезжие, и что вас такое остановило туточки?! около дома моего, Евдокииною?! Живем мы тут, а хлеб давно не жуем. Лебеду жуем, это да. Крапивные щи варим. Хлебаем хлебово, хлебало разеваем.

Поляки надвигались на Евдокию, как смерч в полях – на одинокую корову.

– Дзень добры! — Высокий седовласый пан наклонил голову и снял богатую баранью шапку. Поздняя осень гнала по дороге последние, сохлые листья. Темнело уж; куда двинутся в темень, бедняги? — Пшепрашем, добры вечур!

– Вечер добрый, — неласково ответила Евдокия. И заправила русую прядь под плотно повязанный платок. — Гостями будете, заходите!

Жесткий голос, железный взгляд.

Показала рукой на открытую дверь в избу.

Молодая пани – или паненка, цуречка, кто ж их там разберет? — огромную, как стог, шляпу не снимала, и Евдокия могла рассмотреть все, что накручено-наверчено на ее шляпе: огурцы и помидоры, лилии и розы, лимоны и апельсины, и гроздь сирени, и алые тюльпаны, и весь этот цветочный, фруктовый сад мастера неведомые сшили, слепили из тряпочек и лоскутов, из бархата и кожи, обшили плюшевым мохом, раскрасили серебром и позолотой, и с ума можно было сойти от великолепия такого! Дуня и сошла, на минуту. Замерла, с открытым ртом стояла, рассматривая висюльки, венчики цветов, из алого шелка пошитую землянику.

Опустила глаза от шляпы-сада вниз. Босые ноги свои увидела. Грязные. В цыпках. Намедни на стекло наступила – обцарапалась, глубоко стопу проткнула. Колька помогал,

лечил маманьку, подорожник привязывал. На бинты – церковную, нарядную ее рубаху порвали.

Теперь в церковь нельзя. Теперь в церкви – конюшня. Колхозные лошадки в алтаре стоят, скудное сенцо жуют.

Опять голову вздернула. Опять ослепла от солнечных лучей диковинной шляпы.

– Ну шо ж не заходите? Валяйте!

Первая повернулась, босыми ногами – шлеп-шлеп по чисто намытым доскам крыльца. Ноги грязные, а доски чистые.

Долго вытирала ноги о разноцветную самовязаную половицу, кинутую у порога.

Поляки тоже вытерли ноги. Пан – мощные, бегемотьи башмаки. Пани – изящные, как вертлявые лодчонки, замшевые сапожечки.

Вошли в избу. Пустой стол. Столешница тоскливо размахнулась на пол-избы. Будто плаха ледяная, плывущая по реке в ледоход огромная льдина. Дерево – не лед, не растает. И Евдокия – не сахарная, не растает: ни от побоев мужа, ни от хныканья голодных деток. Ни от того, что живот ноет, и кровь течет, а то не месячные, а хворь неведомая какая, и гляди, Боженька, вот умрет она скоро.

В люльке – младенец Зойка качается. Колелет люльку незримая рука. Сквозняк? А может, ангел тот приبلудный?

Хорошо хоть спит. Не орет от голодухи.

Евдокия украдкой потрогала под рубахой тощую, висячую грудь.

На стулья указала:

– Сидайте, панове.

Паны сели. Поляк подкрутил светлые, пшеничные, могучие усы. Паненка запрокинула голову, вглядывалась в лампочку под потолком. Лампочка Ильича не светила; на столе, взамен новшества, тускло, собачьим глазом, горела керосиновая лампа. Под выгибом стекла, горящего красным огоньком безумного военного опала, на меди, над зубцами позеленелого от времени медного узора, выцарапано наглым комсомольским ножом: «МЫ НОВЫЙ МИРЬ ПОСТРОИМЬ».

– Зачем пожаловали? — без обиняков спросила Евдокия.

– За ребенком, — так же прямо, глядя Евдокии в глаза, ответил поляк.

Брови Евдокии поднимались на лоб медленно, неуверенно, кожа на лбу морщилась, и морщились губы, — то ли засмеется во весь рот, то ли ругань грязную из уст пустит, то ли зарыдает да на колени повалится.

– За робенком? За яким таким робенком?

Старалась спокойствие в голосе сохранять. На крик истошный не сбиться.

«А не пошли бы вы, панове, взашей?»

Густоусый дородный поляк покачнулся на стуле, придавил сиденье всей тяжестью сбитого, грузного, сытого тела; Евдокия неприязненно глядела на сметанно-белое, с двумя холеными подбородками, лицо, на нежно-белые благородные, пухлые руки, любовно поглаживающие черный выгиб ручки лакированной, богато выделанной трости. Стул скрипнул. Евдокия выгнула гордо спину. Сейчас она выгонит этих сук из своей избы! Она поняла все. Допрежь, чем пан раскрыл рот для объяснения.

– За вашим ребеночком, пани. За сынком вашим.

– Вот отсюда! — ярко, ясно крикнула Евдокия.

Крик зазвенел под потолком, укатился за печку.

Златоусый пан прижал белый палец к губам.

– Милостивая пани послушает нас. Пани не можно выгнать вон добрых людей. Мы добирались к пани, пшепрашем, долго. У нас поместье далеко отсюда.

– Его ищо не сожгли?! — неистово крикнула Евдокия.

Поляк прямо, грустно глядел на нее. У него лицо, как добрая морда большой сторожевой собаки. У него глаза яснили, лучились закатным, дальним, больным светом.

– Пускай успокоится пани. Мы не сделаем пани ниц... ничего плохого. — Собачья морда пана дрогнула всей сытой, гладко-перламутровой плотью, щеками-брылами, мягко стекающими на воротник кожаной дорожной куртки. — Нам сказали наши друзья, что у пани много детей, и вот еще один народился, — он показал на качающийся маятник люльки с Зойкой внутри, с белой жалкой гусеничкой, — и семейство пани голодает, и... вот мы здесь. У нас ниц нема... нет за душой ничего худого. Мы, — он сделал рукой широкий круг, обвел вокруг себя, обнимая, сминая ладонью голодный пустой воздух, — бездетные! Не дал Бог деток нам! А нам так уж детку хочется! Так уж...

Встал пан со стула. Тяжко застонал нищий стул. Сделал пан шаг к люльке. Качнул люльку крупной, мягкой рукою. Младенчик в люльке слегка ворохнулся, крепко спеленатый. Изогнулся вертляво белый червячок, сморщилось и чихнуло красное свекольное личико.

– Зоя, — тихо сказала Евдокия. — Зою я вам не отдам.

Радостью просияло лицо пана.

«Не отдаст Зою – значит, кого другого – отдаст».

– А где детки-то?

Опять сел на стул. Снова стул спел жалобную песню.

С печки глядели три пары глаз. Три головенки вертелись, три носопырки воздух нюхали: не пахнет ли съестным, не приготовила ли мать чего на ужин.

– Мы не просто так, проше пани. Мы денег заплатим, — голос пана стал суровым, непреложным.

Денег. Они заплатят денег! И Дунька купит еды, питья, хлеба, крупы, отрезков – пообносились ведь мальчишки все до нитки! да и они с Иванычем хороши – дореволюционное тряпье шьют-перешивают! постирают и пялят опять! — и хлеба... хлебушка...

– Хлебушка, — сказала Евдокия вслух, тихо.

Поляк услышал. Еще сильнее, солнечно, на всю избу, засияло круглое, пышное как пирог, породистое лицо.

– Спрыгивайте, вы, бурсаки!

Мальцы будто приглашенья ждали, разрешенья. Посыпались с печи: выщелкнули из стручков жесткий живой горох. Пятаками по половицам затопали. Сереня и Вася уселись на лавку, Колька подкатился к панам поближе – и сел на пол у их ног.

«Чует шо-то хлопчик. Неспроста к ним прибился».

Закусила губу Евдокия. Деньги! Еда!

«Продам Николку, и этих – спасу!»

– Як пана зовут? — спросил поляк и приподнял пальцем за подбородок Колькину русую лохматую голову.

– Я не пан, — Колька мотнул головой на тонкой шейке. — Я Колька Крюков!

– Ага, так, — кивнул головой пан, и золото-серебряные усы его затряслись, замерцали. Видно было, как он весь мелко, восторженно, горько дрожит. Он не хотел упускать свое счастье; счастье само прыгнуло к нему с печи. — Вот чудо то чудо! Чудо чудовне! И я – пан Крюковский! Корвин-Крюковский! Вспаняле!

В восторге поляк не вскочил – подпрыгнул со стула, взмыл вверх играющей рыбой. Евдокия испугалась: сейчас башкой потолок проломит! Склонился быстрее молнии; Кольку на руки большие, теплые – подхватил. И Колька затих; головеночку на плечо пану склонил; бормотал что-то или пел невнятно, на ходу сочинял – не понять, не расслышать. Птичкой свиристел; медвежонком гукал.

Пан стоял с Колькой на руках и обнимал его.

Как своего ребенка, обнимал. Притискивал.

Евдокия видела: по щекам пана льются слезы.

По такому крупному, дебелому лицу – такие мелкие, смешные, бисерные слезки.

– Сыне, — шептал пышноусый пан, сильнее, крепче прижимая к себе ребенка, — сыне муй, сыне...

Паненка сидела, жестко выпрямив спину. Железный хребет гордо поддерживал хрупкие, изящные косточки. Цветочная сумасшедшая шляпа гнула шею, давила кудрявую голову. Закинув гладкокожее выхоленное лицо, пристально, во все широко распахнутые глаза глядела красуля на пана, и длинные дивные смоляные ресницы паненки достигали бровей, и в тусклом свете керосиновой лампы красно, кроваво посверкивали крохотные серьги в крохотных, меньше ноготочка, мочках.

– Пани Ирена, — в горле у поляка клокотнуло густо, рыдально, опасно, будто он жадно ел и комом подавился, — жона муя... зришь, то наш сын, так...

И тут Евдокия очнулась. Вперед шагнула.

Вся тряслась, как в лихотке.

– Эй! — взвопила. — Да шо ж это! Я ж ишо своо слова не дала! А вы мене тут вже ж усе по нотам расписали!

– По нотам? — Пан, счастливый, с сопящим и гудящим Колькой на руках, непонятливо, рассеянно обернулся к Евдокии. Будто б Евдокия уж и не живой человек была, не мать этому мальцу, а так – кошка, тряпка, вещь, приبلуда, швабра, в кладовой забытая. — По яким... нотам, проше пани?

Тут встала со стула красotka, женка наглого пана, забывшего о себе и обо всех вокруг в позднем, найденном счастье своем.

– Мы ж договорились! — Ее русский язык был чище, безупречнее, чем у пана. — Вы слышите, хозяйка! Договорились!

Евдокия глядела, как белые, с длинными изящно сточенными, накрашенными нежно-алым лаком ногтями, быстрые, проворные пальцы копаются в сумочке, вынимают портмоне, отщелкивают застежки, роются, ковыряются, шуршат бумагами. Деньгами – шуршат.

Пани послунила палец. На указательном пальце высверкнул синий перстень; на безымянном – темное розовое золото обручального кольца. Пальцы листали, шуршали, считали.

– Не скупись, матка Боска Ченстоховска! — рьяно выкрикнул пан, и серые глаза его под седыми грозными кустами бровей вспыхнули победно, бешено. Будто он на лошади скакал, и сейчас саблей взмахнет. И голову снесет тому, кто только посмеет... — Все отдай! Иренка! Мы повинны бычь з сынем тераз!

Евдокия почуяла, как половицы уплывают из-под ног, будто она на льдине стоит в ледоход и плывет, то ль по Лугани, а то ль по Ольховой, и сейчас льдина накренится, ломко хрустнет, растаяв на глазах у рыжих голых берегов, и она окажется в воде, и захлебнется, и не выплывет уже.

Еще ближе шагнула к пану. Он держал ее ребенка на руках!

«Уже не отдаст. Присвоил».

Обернулась на пани Ирену. Она, уставясь в портмоне, все шуршала купюрами, шуршала. Но не вынимала. На стол не клала. Медлила. Жадина!

«Жизнь человеческую покупают. Гады!»

Еда, Дунька, еда, много еды... сразу поедешь на подводе на рынок в Луганск... купишь всего, всего... в погребницу завалишь... на полгода хватит...

«Все равно что съесть собственное дитя».

Кровь швырнулась в голову красным плеском, кипятком из красной кадки. Зашумело в ушах. Евдокия двигалась медленно и уверенно; так двигаются во сне лунатики, акробаты на арене цирка. Она попятилась к столу, не глядя, нашарила лежащий под рушником около

керосиновой лампы нож. Мясной кухонный тесак. Керосин кончался, и гас фитиль, и изба погружалась в красную тьму.

Так же медленно, нагло, твердо ступая с пятки на носок босыми ногами, раскачивая бедрами, Евдокия подошла к поляку и плавно и радостно, улыбаясь все шире и белозубей, занесла над ним нож.

– Блядью буду, убью, — сказала негромко, но тихая изба услышала это каждым паутинным углом, каждой мышью в подполье. — Отдай мальчонку. Пусти.

Поляк сторожко, как охотник на дичь, глядел на резкий высверк ножа в полутьме, на серебряно блестящее узкой сорожкой, острое лезвие, взмывшее над его шеей и грудью.

– То есть ужас, — тихо сказал, и глаза его остановились, застыли, приклеенные, при мороженные к тесаку. — То есть невозможно. Темно тутай. Тшеба... щвятло!.. тшеба...

Евдокия поднесла лезвие к горлу поляка.

– Корвин-Крюковский, значитца. — Голос ее хрипел и пропадал, а потом опять появлялся, выныривал из тьмы. — А может, мы родственнички?! Родня?!

– Мы все родня, — беспомощно, просто сказал поляк. Крепче прижал к себе ребенка. — Пани пощадит нас!

– Не пощадит! — крикнула Евдокия.

Пани Ирена наконец выложила на гладкое дерево столешницы деньги. Много денег. Целую кучу. Бумажный стожок. И как они все умещались у нее в тугом, в виде сердечка, портмоне из телячьей кожи?! Теленочек, бедный коровий ребеночек, и тебя на потеху людскую ободрали, и из тебя кошелек пошили. Будь прокляты люди!

– Будь ты проклят, пан, тьфу, — Евдокия густо плюнула на пол, и лезвие коснулось шеи пана, и из-под полосы остро наточенной стали показалась, выпросталась, медленно потекла по белой коже за белый воротник – кровь. — Я не остановлюся. Пусти робенка!

Она видела, как мгновенно наполнились влагой глаза пана.

Не впервые видела Евдокия, как мужик плачет.

Но чтобы так плакали живые люди – видала впервой.

Колька неловко, как зимняя голодная птица, повернул голову на шейке-веточке, и прозрачные глаза хлопца брызнули в мать самоварным кипятком, душу до сердца прожгли.

Она медленно, осторожно отняла у пана от белого гусяного гора нож.

И она видела, как пан медленно, как во сне, вытирает кровь с шеи холеной, толстой ладонью.

Пан осторожно, как хрустального, опустил Кольку на пол. Колька стоял, оглушенный и ослепленный всем на свете: и теплой, такой родной лаской незнакомого пана, и острым тесаком в руках взбешенной мамки, и приятным, чудесным запахом, доносящимся от красивой паненки: он впервые в жизни обонял женские духи, – и видом длинных красивых расписных бумажек – он уже знал, это деньги, и чересчур, слишком много было денег сразу, здесь, у них, в бедной избе. И не кругляшей-медяков, не беленького разменного серебра, не черных грязных копеек и гривенников, на чешую карпа похожих: настоящих бумаг, с разводами и узорами.

Колька не умел читать, зато Васька уже умел. Васька, наклонившись над столешницей, где возвышалась бумажная горка, читал вслух, по слогам:

– Бан-ко-вый билет... О-дин чер-во-нец... Двад-цать пять ты-сяч руб-лей... Со-ю-за со-вец-ких... Три чер-вон-ца... чис-того зо-ло-та... Бан-ковый би-лет... подле... жит?... а, подлежит... раз-ме-ну... на... зо-ло-то...

– Советские денежки приволокли, — спокойно и громко сказала Евдокия. Взяла полотенце со стола. Вытерла с тесака кровь. — Откуда богатые-то такие? А?

Колька рванулся, бросился вперед. Обхватил руками колени пана.

– Я на ручки хочу!

Визг взвился, достиг потухшей лампочки Ильича, ввинтился в сруб. Поляк судорожно наклонился. Хотел обнять мальчишку, схватить, прижать к себе крепко, выбежать с ним на крыльцо, вскочить в повозку, заорать кучеру: «Погоняй!» Похитить. Быстро. Нагло. Изпод носа у матери. Не догнала бы она его, с ножом своим первобытным.

Остановился. Заледенел.

Пани Ирена спокойно кивнула на деньги, на столе спящие. Нет, не спали они: шевелились, шуршали, шептались. Жили. Вздрагивали.

Люди наделали денег на горе себе; чтобы не спать, и дрожать, и завидовать, и платить, и красть, и продавать, и грызть локти, если их нет за пазухой, и швырять в толпу, чтобы тебя – щедрого и доброго – любили, любили всегда.

– Так братъ – будет пани? Чи ни?

«По-украински молвила, стервоза. Чи ни. Ни, хиба так!»

– Нехай! — Евдокия махнула рукой. Нож сам смешно, неловко вылетел из кулака, пролетел к окну, ударил в стекло, по стеклу пошли хрусткие льдистые круги. — Дите дороже! Подавитесь вы червонцами своими!

«Шо ж мене муженек каже, когда в хату прийде. Шо я полоумная, так и есть. Закричит: на кой ляд тобі лишний рот у семье, ты, дура?!»

Сглотнула слюну.

«Ни. Не скажет так Иваныч. Он – Кольку – больше усех любит. Он бы мене избил смертно, эжли б я...»

Пани Ирена шагнула к столу. Изящно переступила с пятки на носок. Как Дуня давеча. Только Дунька-то босая, а Ирена – на высоких каблукках. Модельные сапожки. Небось в самой Варшаве куплены.

Евдокия слепо глядела, как пани Ирена снова собирает деньги в одну плотную, строгую кучку, считает, пересчитывает, слюнявит, мусолит. И пальцы, пальчики нежные у нее сейчас – дрожали. И ноготочки блестели кроваво. И красная помада лоснилась на губках сердечком. «Будто чоловіка зыла. Як зверюга, с красной пастью».

Все. Сложила червонцы в портмоне. Засунула портмоне в крокодиловую сумочку. Уселась на стул. Сдается, она нисколько не испугалась: ни ножа, ни криков, ни слез. Бесстрастно сверкали серые, пустые, выпитые кровавой жизнью радужки. Жестко, слепяще горели красные камешки в нежных ушах. Эти глазки видели смерть. Эти ушки слышали вопли пытаемых, казнимых. Глазки и ушки, вы выжили. Вы будете жить дальше.

– Пан Юзеф, — тихо сказала пани Ирена, — вшистко едно. Досычь. Слухай! Досычь! И добавила по-русски, лениво, ледяно, устало:

– Поехали уже. Казимеж замерз.

Пан Юзеф вскинул глаза на Евдокию.

И тут стряслось что-то странное с Евдокией.

Они оба глядели друг на друга.

Глядели. Глядели.

Никогда в жизни Дуня не изменяла мужу. Иван Иваныч ей – сто раз. С кем попало. Однажды с комиссаршей переспал, когда в станице переворот случился. И их не расстреляли. Комиссарша приказала: эту семью – пальцем не трогать! А то всех тогда в станице положили. Всех выкосили. Даже стариков. Спасся лишь тот, кто в отъезде случился тогда.

Глаза в глаза. Лицо в лицо. Губы в губы.

– Мы не поедем, Ирена, — хрипло сказал поляк. — Мы переночуем. Хозяйка такая ласковая.

Евдокия кивнула тяжелой головой. Изба плыла у ней перед глазами, вставала вверх дном, переворачивалась пустой кастрюлей.

– Ночуйте, хрен с вами. Тильки жратвы-то нету вить никакой.

— А, жратва, — задыхаясь, не отрывая взгляда от Евдокии, выговорил с трудом поляк, — препрашем, пища! Еда! Про-ви-зи-я! У нас в карете провиант имеется. Жона, прикажи Казимежу, пусть он принесет в избу все свертки! И еще: пусть баул откроет! Там... буженина...

При слове «буженина» из углов рта Евдокии потекла слюна, как у бешеной собаки.

Как в бреду, внутри ненастоящей, чьей-то насквозь выдуманной, чужой и нелепой жизни, глядела она, как из повозки мрачный усатый, на крысу похожий кучер вносит в избу сверток за свертком, баул за баулом, тючок за тючком. Разворачивает. Вываливает на стол: что?... еду?... нет, еда такой быть не может; это совсем не еда, это другое — неземное, Божье или дьявольское, она не знает, ведь не видывала такого никогда и нигде: и фарфоровые мисочки — и крышечки беленькие открываются, как ракушки — а внутри что? — черное, сизое, алое, цветные катышки, прозрачные скользкие шарики, Господи, — и пани Ирена холодно цедит: «Икру сюда», — и масляная бумага разлетается с мышиным шуршаньем, рвется надвое, натрое, летит прочь снегом, а под снегом и льдом — кус мяса копченого, и нос закладывает от счастья: это нюхать нельзя! Это есть нельзя! Это детям, только детям!.. — а рука сама тянется, а ноготь уже, как хищный зуб, жадно вгрызается в мягкую нежно-розовую подвяленную свиную плоть, — и трясущейся рукой Евдокии несет кусочек буженины ко рту, и губы вбирают мясо, как вбирали бы — чужие губы — в греховном ночном поцелуе, — и дети глядят, как мамка ест, а им не дает, — и тянутся робко к маманьке, и встают на цыпочки, и верещат, как щенята: «Дай! Дай! И мне! И мне!» — и пан сам ломает, разламывает на куски свежий пахучий хлеб, и раздает детям, и снова чистые золотые слезы текут по его щекам и тают в топорщащихся от стыда и жалости золотых усах. «Золотой мой!» — хочет вышептать ему Евдокия — и не может: у нее рот занят, жует она, жадно глотает, а на стол летят все новые чудеса — вот рыба огромная, с костяными пластинами по бокам, вот рулет сдобный, пропитанный то ли медом, а то ли вареньем, — и чужая, Иренина, холодная и нежная рука уже ее, ее тесаком, которым она чуть не зарезала пана, режет рулет на тонкие кусочки, — а вот и помидорки в прозрачных банках, и в корзинке — яйца: и успевает еще Евдокия подумать: вареные или сырые?... и хочет взять яйцо и крутануть на столе, чтоб определить, сварено ли, — и пан сам в руку ей кладет яйцо, как на Пасху, и шепчет Евдокия смущенно, ощущая кулак свой, лежащий в руке пана, как живое горячее, только из кипятка, яйцо.

— Пане, у нас же не Паска зараз...

— У нас Пасха теперь завжди.

Горячо у Евдокии внутри. Вот они все уже расселись за столом — Васька, Серенька, Колька, Дунька, Иренка и Юзеф, будто век знакомы, будто праздники вместе справляют! Будто б вареники вместе, на доске, мукою посыпанной, вместе, в двенадцать рук, лепят! А Иван-то Иваныч иде ж? А леший его знает! Ушел, как корова языком слизала! И нет его! Нет и не было! Нет — и — не было?!

Едят! Пьют! Дети рты набили, гутарить не могут! Только челюсти молотят, и за ушами трещит! Уголодались. Устрадались. Может, этих панов тот самый, белый, Зойкин ангел и послал? Может, окромя еды — еще и денежек на прощанье оставят? Будто невзначай, на столе, под самоваром... А можно и так, в открытую, из рук в руки... Она — возьмет... Она не гордая...

— Иде ж вам постелить, панове? — Стояла, руки в боки. Все внутри колыхалось, будто не потроха под ребрами — белье под ветром. — Хотите — в летней комнате? Там воздух чистый. Хоть и змерзнете вы шас там, ноябрь вить. Да я хоть буржуйкой натоплю. А хотите — на печи? Робятню сгоню. Они и на полу поспят, на матрасике. А хотите — на кровати?

— А ты ж сама где будешь?

Пан изо всех сил старался быть бесстрастным.

Ирена вскинула длинные хвойные ресницы.

Прозрачные глаза с виду равнодушно мазнули по горящим, как угли в печке, безумным глазам мужа.

– Я-то? А не тревожьтесь. Найду местечко.

Дети, наевшись, уснули мгновенно, где попало: Сереня – на полу под столом, как кот, Колька и Васька – в обнимку – на лавке у разбитого окна. По избе гулял ветер. Евдокия подошла, заткнула дыру в стекле полотенцем. Кивнула на кровать, ее и Ивана:

– Ложитесь. Рассупонивайтесь. То ись простите дуру, вы ж не лошади, раздевайтесь, конечно.

Криво усмехнулась. Перед пьяными от еды глазами плыли стены, ходики, желтые фотографии отца и матери в золоченых рамках, мертвые мухи, прилипшие к лампочке Ильича.

Она постелила себе у порога собачью подстилку. Чтобы сторожить; чтобы слушать воздух, ночь, чтобы не спать. Чтоб не пропустить, когда за воротами послышится топот мужниных сапог.

Она знала, что пан придет. Она хотела, чтобы он пришел. Ждала его.

И он пришел.

Мягкое тесто тел каталось в руках и раскатывалось по черной доске ночи; лепились бешеные пельмени щек и ушей, засыпанных острым, жгучим, щедрым перцем поцелуев; таял лед синяков и побоев, и над талой водой всходило солнце лица – и лиц внезапно становилось много, они летели и смеялись, они пеклись временем, как большие теплые блины, и чья-то мощная рука срывала их с обжигающей черной ночной сковороды и бросала голодным: нате! жрите! успеете насытиться! — и нежно, плывуще, с тонким собачьим далеким воем, таяло в груди страдание, а вместо него тихо и незаметно рождалась радость – такая радость бывает в жизни лишь однажды; и не повторится она больше никогда. И, когда Юзеф, задыхаясь, на вытянутых руках приподнялся над раскинувшейся, разлившейся по подстилке, как весенняя река, тяжело дышащей Евдокией, он вышептал ей в лицо, и хмельным древним медом втек тот шепот в слышащие сейчас весь мир уши ее:

– Ну вот, теперь ты... будешь знать... будешь думать... что это я... я, Юзеф Крюковский... отец твоего... Николеньки... ребенка... твоего... он же теперь... и мой... слышишь!.. слышишь... слышишь?!..

И сказала Евдокия Семеновна, жена Ивана Крюкова, единожды мужу своему нагло, ночью, с проезжим мужиком, изменившая:

– Слышу. Слышу, родной. Слышу. Аминь.

А Иван Иваныч той ночью напился с шахтерами горилки, и на голодный желудок сильно захмелели они, и созоровать им захотелось, и, распевая срамные дикие песни, двинулись они на берег Лугани, на ноябрьский сырой и грязный бережок, и взял Иваныч багор, и подошел к банькам, кучно лепившимся у обрыва, и поддел багром баньку одну, слабей всех в землю вкопанную, и перевернул ее, дивясь силище своей пьяной и костеря площадными и подземными словесами себя, друзей, баньки, осень, голод, время, — и спустил баньку в Лугань, на первый заберег, на несмелый тончайший серый, перламутровый лед, и разбил гнилой сруб нежный заберег, и медленно, важно, печально поплыла банешка прочь от берега, от грязи, от земли, — прямо в ночное небо поплыла, в тучи, набрякшие тяжелым черным снегом, и стоял Иван Иваныч, тоскливо на баньку глядел, провожал ее пьяными солеными глазами, — навек провожал: на веки вечные уходила, уплывала она от него, его жизнь, его пьянка-гулянка, голодуха его лютая, осень его близкая, война его распроклятая, революция его кровавая, потроха же ее да детьми его не увидены будут, — любовь его избитая, жена его верная, лишь однажды ему неверная, да прощено будет ей сие прелюбодеяние, ибо отда-

лась она названому отцу любимого сыночка своего Коленьки, да будет жив он, Николка, да не коснутся его войны и крови, да не увидит он судорог и рвоты голодной, да не расклюют его труп вороны, да не пойдет он червям на пищу, а жить будет, только жить, ведь так прекрасно жить и хулиганить, жить и пить горилку, жить и любить бабу, жить и прямо, весело, сумасшедше глядеть в лицо близкой смерти, как в лицо бабы, под тобой распластанной соленой селедкой, закуской опосля стопки пьяной озверелой страсти: в любви плывущей и бьющейся, в любви как рыба играющей, розовой, румяной, стонущей, зачинающей, — то ли бабочки-однодневки походной, а то ли — навек, до гроба любимой.

*Дядя Тарас мертвый около дома рядом лежит его дочка Таня
ст. Марьевка, 1933 г.*

Колька стоял рядом и смотрел.

День был весенний, свежий. Все цвело разом, бешено и счастливо: сирень, вишни, яблони, абрикосы, сливы, — и те, кто доживет до ягод, будет их есть, жадно грызть, и останется жив.

Жив, жив, жив.

Колька сам еле держался на ногах. У него вздулся живот как корчага. Ручки тоненькие, ножки-соломины. А ему ведь девятого мая уж одиннадцать лет исполнилось.

Стоял и глядел. Глаза глядели — что глазам оставалось делать?

Глядеть.

Подойти не мог.

Ноги не шли.

Он очень любил дядю Тараса. Звал его: «Дяа Тарсик» — почему-то так, не выговаривая буквы, и мать смеялась, шлепала его крепкой ладонью по заднице: «Тарсик, Барсик! Тоби дядя Тарас шо, кит?!» Дяа Тарсик и правда подарил ему однажды кота. Котенка. Заморыша. Задохлик вырос, вымахал в полосатого, мохнатого, широкого как подушка, полосатого как матрац, толстого и тяжелого кота, котину, и назвали котофеича, конечно, Барсиком.

Когда начался голод, Барсик еще долго держался, мышковал, ловил стрекоз и бабочек и ел их. Потом как-то враз и страшно отошал. А потом кота убили соседи Перебейнос, сварили и съели. И косточки, наверное, обсосали.

Мать шептала, глаза округляя: соседи съели и дочь свою, малолетнюю Настену.

Колька в это не поверил. Забился, заревел как паровоз, и мать ему больше ничего такого не говорила.

Превозмогая боль в ногах, шагнул вперед.

Дяа Тарсик лежал навзничь, и белые глаза его открыты были. Распахнуты слишком широко: будто он силился разглядеть, рассмотреть в небе что-то такое крохотное, ослепительное и летящее — такую малую точку, меньше звезды, меньше родинки, но режущую зрачок больно и навсегда.

Кожа на руках и лице мертвеца вздулась одним огромным лиловым воздушным шаром. Такие шары Колька носил на демонстрацию, на Первое мая и Седьмое ноября. Дяа Тарсик превратился в мертвый воздушный шар. Никуда уже не улетит. Если проколоть истончившуюся прозрачную корку кожицы — выйдет не воздух, вытечет белая страшная жидкость. Посмертная горилка.

Колька шагнул еще, и еще. Подошел близко. Закрыв рот и нос ладонью. Дяа Тарсик источал странный и лютый запах, и этим запахом можно было убить маленькую мышь.

Рядом с Тарсиком, валетом, ногами к голове Тарсика, лежала его дочушка Танюшка. Она лежала ничком. Валялась, как кукла: куда рука, куда нога. Разбросала ноги и руки вон из тела, не соберешь. Будто плывет. Ольховую переплывает по весне.

Весна! Сирень!

...кожа Тарсика, цвета сирени.

Запах сирени мешался с вонью смерти. Колька встал на колени в дорожную пыль. Ему смертельно хотелось коснуться Тарсика. Может, если он потрогает его, дядя Тарсик откроет глаза?

И Колька протянул руку.

Не руку: костлявые игрушечные грабельки.

В голодной голове бились рыбами мысли. А вдруг это все игра? Голод – игра? Смерть – игра? Притворяются все? И дядя Тарсик сейчас вскочит, весело заорет: «Колян-бурьян! Здорово, племяш!» – и подкинет его в воздух, так, как всегда, как обычно они с Матвеем Филиппычем, увечным шахтером, вся в оспинах загорелая морда, подбрасывали его и братца Сереню, веселясь, наблюдая, как звонко кричат дети, когда улетают в небеса.

Протянутая рука. Живая.

На земле лежит темная мертвая рука. Протянута тоже.

Обе руки тянутся друг к другу. Сейчас соприкоснутся. Сейчас.

Колька все же дотянулся. Живая рука налегла на мертвую, и по Кольке, вверх, от высохшей кисти к острому локтю-кочерге, и выше, выше, к торчащему под равной рубахой плечу, и еще выше, по тощей слабой шее, под лоб, под черепушку прошла диковинная острая дрожь, мгновенно и бесповоротно превратившаяся внутри, в голове, у самого затылка, что солнце нещадно пекло, в свет.

– Свет, — сказал Колька вслух изумленно, — свет.

Руку от руки Тарсика не оторвал. Она как приварилась. Подумал, и легкий ужас поднял надо лбом русые волосенки: а что, если не оторвет никогда?! Что, если мертвец за собой утянет?! под песок, под пыль... под землю... — но мысль сама послушно, как собачка, отбежала, он даже и не отгонял ее; исчезла, растаяла в пыльном солнечном мареве.

Свет пульсировал у Кольки под черепом, и голова разрасталась, как громадная крынка, что сушит мать на заборе, раздувалась, росла, тяжелела, вот она уже стала невыносимо огромной и горячей, горячей как солнце, как горячая пыль под ногами, — и сейчас отломится от тощей шеи, оторвется, покатится чугунной тыквой по желтой сияющей дороге, завертится, полетит.

И никогда больше он не отыщет ее.

Рука Тарсика, липкая, вонючая. Сколько времени он уже лежит тут, на солнце? Колька с трудом повернул голову, покосился. Танюшка, на животе, медленно плыла по дороге, перебирая руками, всплескивая ногами, как рыба хвостом. Колька медленно и мутно подумал: «Русалка».

Лицо Танюшки лежало в пыли. Его не было видно. Колька хорошо помнил ее лицо. Танюшка очень славно, светло смеялась. На щеках у нее, когда смеялась, вспрыгивали два холмика, а под ними – две ямочки, и все хохочущее румяное личико напоминало неровное, неспелое подгрызенное яблочко: с одной стороны краснеет на солнце, с другой – дырочка, и там живет червячок.

«Ее съедят черви. Ее заруют в землю, и ее съедят черви».

И тут он ясно и жестоко понял: ни в какую землю ни Тарсика, ни Танюшку не заруют. Не похоронят их.

А что? А прямо тут и оставят догнивать.

Потому что...

Он еще, с усилием и болью, повернул шею.

Потому что на дороге, на всей станичной главной дороге, лежали – трупы.

Лежали: отдельно, на почтительном расстоянии друг от друга, кучно, тесно, впере­мешку, иные друг на друге, как в любви, как спящие вповалку после сенокоса косцы; лежали как спали, лежали – как на операционном столе у злого хирурга, и сейчас занесут скальпель, и торопиться надо, не то нахалка-смерть придет и утащит в крысиную нору! — но медлил врач невидимый и всесильный, утирал потный лоб, и со лба под белую страшную маску цветущих вишен и слив тек горячий пот – белые лучи текли, жгли, прожигали насквозь тонкую вздувшуюся синюю кожу, и кожа лопалась, и на землю, в пыль, водяная, прозрачная лимфа вытекала навек.

Колька закусил губу и наконец оторвал руку от липкой, коричнево-синей руки Тарсика. Тарсик не пошевелился. Не вздрогнул. Не ожил. Не бывает чудес.

Есть только свет, мощный и тяжелый свет, и он живет под черепной костью, глубоко в голове, в ее черной, кровавой пещере.

Теперь надо встать с колен, Колька. Встать. Встать!

Он кричал себе: «Встать!» – а встать было никак нельзя, невозможно, невероятно. Встать – означало жить, а жить он уже не мог, не умел, не хотел.

И тут на другой стороне улицы Колька увидел девочку.

Странная девочка была живая. И в то же время как неживая. Она стояла недвижно, легкий теплый, горячий ветер колыхал ее прозрачное цветастое платье, и она была еще прозрачней платья – светлая кожа, через нее видны жилы, как красные реки, и кости, как деревянные, на сеновал, лестницы. Да и кожи не было на ней, и плоти у ней не было тоже: она вся была – воздух, и струилась, и текла, и вспыхивала на ветру, и гасла. Сквозь девочку Колька видел цветущие сады и ржавые жестяные трубы на крышах домов, а вдали – черные треугольники терриконов.

Колька облизнул губы. Смешно и глупо стоять перед девчонкой на коленях. Он сделал последнюю попытку подняться с земли. Не удалось. Тогда он усмехнулся девчонке: не думай, я не слабак, это я тут так нарочно сажу, при дороге! — и даже ухитрился подмигнуть ей.

Девочка не двигалась. Шевелилось под ветром лишь ее ситцевое, простенькое платьишко.

Тогда Колька догадался. Он сложил губы трубочкой и свистнул девчонке, как собаке: – Фью-у-у-у!

Что означало: «Не дрейфь, я не мертвяк, я живой, вон видишь, свистеть могу».

И девочка услышала.

Улыбнулась ему.

Или это он сам себе улыбнулся?

«Мы с ней похожи. Как брат и сестра. Я вроде как в зеркало смотрюсь. Гляжу в ее лицо – а это – зеркало».

– Зеркало, — тихо сказал Колька и сжал кулаки. — Ты зеркало. Я знаю.

Девочка не пошевелилась.

– Иди ко мне! — крикнул Колька, а на самом деле прошептал.

Девочка стояла.

– Ты! Как тебя зовут? — шепотом кричал Колька.

Девочка молчала.

Потом ветер тихо стронул ее с места, и она тихо и торжественно поплыла к нему по воздуху, немножко подымаясь на землей, едва касаясь подошвами сандалий легкой и веселой серо-золотой пыли, и Колька изумленно глядел на этот легкий и тихий полет, и он почувал, что тоже над дорогой приподнялся, завис – и медленно, тихо навстречу ей полетел.

Так летели они, мальчик и девочка, навстречу друг другу.

И не успели друг друга обнять.

Под мышки Кольке просунулись грубые руки. Голос ругательски, проклинаяще забасил над ним, чужие руки тянули к себе, вылавливали его, медленную голодную снулую рыбу, из тугого пылающего воздуха, возвращали на землю, били, колотили, спасали.

– Ты! Николка! Очнись! Эй ты! Очнись! Ну давай глазенки отворяй! Ну ты, ты, не вмирай! Не вмирай, понял?!

Колька голову неловко повернул. Чуть шею не сломал. Заболела шея.

Дядя Матвей Филиппыч, рябой и криворожий, это он от взрыва в шахте пострадал когда-то сильно, весь искорежился, осколки ему лицо усыпали и пронзили, и все щеки и лоб и подбородок – в рытвинах и ямах и ухабах, и чужие думали: оспой переболел, — а станичники да шахтеры знали все и в застольях возглашали: «Ты, Матюша, два раза родился! Так выпьем же горилки с перчиком за тебя, мужик бессмертный!» — держал Кольку на руках, а руки-то у него не две, а полторы, отняли ему после того взрыва, язви его в корень, правую руку до локтя, и культей он ловко управлялся, хоть и жаловался в холода: «Больть ручонка, больть!» — встряхивал мальчика жестоко, как мешок с картошкой, что в кузов грузовика заталкивают, потом наземь опустил и бил, бил по щекам, и все орал:

– Очнися! Очнись!

– Я очнулся уже, Матвей Филиппыч...

– Та ни! Не очнудся!

Изрытая взрывными оспинами рожа, во сне привидится – в штаны накладешь, придвинулась к Колькиному лицу и ослабилась, и Колька тупо, каменно глядел на сломанную расческу черных зубов: так Матвей Филиппыч смеялся от радости, что Колька очухался, — от счастья смеялся.

– Вот зараз очнудся! Жить будешь, хлопчик!

И Колька старательно, как в школе, беззвучно, белыми высохшими губами повторил вслед за Матвеем Филиппычем:

– Жить. Буду.

Матвей Филиппыч принес Кольку на руках не в избу к Евдокии Семеновне – к себе в дом.

Посадил Кольку на колченогий стул.

Колька глядел на шахтерскую лампу, лежащую на комод.

Лампа покрыта угольной пылью.

Протереть надо.

А как они там, шахтеры, под землей-то? При жизни еще – а вроде как в подземном царстве? А на гробы они там... не наталкиваются?

Матвей Филиппыч левой рукой вынул из буфета миску. Миска прикрыта чистой тряпичей.

Матвей Филиппыч стряхнул тряпицу культей. Под тряпичей лежал кусок мяса.

– Мясо, — прохрипел Колька и хотел сглотнуть слюну. Слюны не было.

– Да, мясо, — так же хрипло ответил Матвей Филиппыч, дрожащей рукой взял кусок из миски и поднес ко рту Кольки, так подносят торбу с овсом к морде коня.

И Колька ел у Матвея Филиппыча из руки.

Ел и улыбался, пока жевал.

У Матвея Филиппыча по рябому страшному лицу слезы текли.

Мясо крысы. Ее Матвей Филиппыч поймал в подполье, ободрал шкуру, разделал и зажарил.

Когда Колька доедал кусок, он не выдержал и тоже заплакал: мясо кончилось.

И Матвей Филиппыч притиснул Колькину голову к своей искалеченной, без двух ребер, покрытой дикими шрамами, волосатой под рубахой груди, и Кольке показалось – его окунули головой в костер, такая у Филиппыча была грудь пламенная: паровозная топка, доменная печь.

*Станица Марьевка. Восьмой класс
Николай Крюков второй слева. 1935 год.
В этом году я впервые сбежал из дома
Я хотел увидеть море.*

Надо ли прощаться с мамкой Дуней?

Если ты сбегаешь на море навсегда – прощаться не надо.

Ты же не навсегда прощаешься.

Надо просто собрать в мешок вещички. В заплечный мешок.

С мешком – проворнее, надежнее; с мешком не заберут, мешок – он же серый, нищий. Заберут – как раз с чемоданом: подумают, украл.

А надо не привлекать внимание. Надо – тихо, скромно, забиться в общем вагоне в уголок. Или даже под лавку.

Стукнула дверь. Колька воровато кинул мешок за комод. Он уже успел положить туда перочинный нож, мешочек с сахаром, баночку с солью, сухари и ржаной кирпич.

Одежку не успел положить.

Ну ничего; мать сейчас повернется в избе и уйдет, у нее на дворе со скотиной работы много.

Голодомор не все переплыли. Брат Васька умер. А брат Серенька и сестра Зойка – выжили, а все как раз думали – Зойка помрет, такая слабенькая была, совсем в щепочку превратилась.

А сейчас откормились все, отъелись. Евдокия Семеновна скотину завела. Ей – колхоз разрешил: как многодетной матери. Спасибо колхозу.

Евдокия подозрительно глянула на Кольку.

– Шо робишь? Шо гляделки вылупил? К дружкам побег? Ой, батькина судьбина ждет... Ой, сопьесси...

– Мама, я ж не пьяница какой. Я ж пацан еще. Ну что ты.

Колька правильно, хорошо говорил по-русски, хоть и учился в украинской школе. Украинский ему давался с трудом, а вот русский шел как по маслу.

Евдокия тяжело вздохнула.

– А шо видок такой, будто б слямзил со стола шо-то? Не слямзил?

– Не слямзил. Мам, ну будет. Все мирово.

Колька поднял большой палец.

– Мирово-то мирово, — мать зыркнула на дверь, подошла и крепко прикрыла ее, — а вон у нас напротив, на той стороне, у Шевченок отца забрали. Ночью. И к нам жду. Иван Иванычу уж узелок сготовила.

«Узелок. Отцу – узелок. А я! Куда ж я мчусь?! На море, видишь ли, захотел, аж мочи нет!»

– Какой... узелок?

— Да шо ты хлупеньким притворяешься, сыночек... — Мать утерла лицо ладонью. — Берут же! Берут! Денно и ночью! Увозят! А куда — не говорят... И с концами людныны пропадают. С концами...

Евдокия еще обозрела избу. Все на местах. Потрепала сынка по русому чубу. Большой какой. И как светло улыбается! И скулы широкие, и глаза широко расставлены, как у бычка, и нос широкий, лопатой; это в нее, в Дуньку. У Ивана носяра тонкий, длинный, лисий. Вот Зойка — вся в бату: принцессочка, актрисулька.

— Ну, валяй. Я до коровы пийшла. А ты Женьку выпасешь?

Женька — коза. Раздоенная уже, вымечко черное, мохнатое. Молоко пахнет отвратно, прелым сеном и мокрой шерстью, но мать насильно пить заставляет, кричит: «Полезность! Вы шо, опять голодуху хотите?! Не повмирили бо усе?!»

— Выпасу.

«Вот и повод уйти. Улизнуть. Женька сама домой дорогу найдет. Если за мной не побегит на станцию».

Чувствовал себя — предателем.

Худо, черно стало на душе.

Скакал, как конь, по насыпям и тропам. Перебирался через загражденья. Бросив Женьку пастись на краю оврага, понесся на станцию окольными путями — и коза не выследила чтобы, и чтоб знакомцы не приметили. Дворами крался. Переулками. «Будто вор, утекаю. Дрянь я, дрянь».

Ругал, костерил себя, а шел. Бежал.

Море, море маячило перед глазами, его серая, почему-то хмурая, дождливая ширь. Зеркальная рябь. Туман, и волны, и нос корабля то приподнимается, то опускается. Это называется килевая качка, он знает. Откуда?

Из книжек?

Забирался на сеновал, читал с фонарем. Сено шуршало, пахло мятой и чабрецом, и под этот одуряющий запах слова и буквы втекали в него медленной, пьяной черной струей, а внутри него вспыхивали, дробились и рассыпались на мелкие цветные, алмазные искры. Мир поворачивался к нему разными сторонами, уродливыми и дивными, и он гладил мир руками, как гладил бы грудь девчонки. А он ускользал, уворачивался, катился прочь.

И теперь шар земной катится ему под ноги; и он должен добежать до моря, добежать.

«Доехать, дурак, какое добежать. Надо еще узнать, какой поезд до Жданова ближайший».

О билете не думал. Денег не было.

«Просочусь, пришиплюсь... перекантуюсь. Проводнице рожу сострою умильную».

Мешок бил по лопаткам. Сухари перекатывались булыжниками. Ржаной грел спину. «Хлеб всегда теплый, всегда. Даже если холодный, с мороза в избу внесут. В метель — еще теплее».

Лето нынче жаркое: печка, огонь. Пожары волной идут. Деревни, станицы горят. Степи горят и леса. Тридцать шестой год, високосный, палящий. Звезды в небесах сместились, вспыхнули, в угли превратились, в факелы.

Колька перебежал через переезд и прибавил шагу. Уже подбегал к станции, когда из жары, из марева стало надвигаться железное, желто-красно-черное рыло паровоза.

Пробежал вдоль вагонов. Поезд минуту стоял. Станция маленькая. «МАРЬЕВКА» — вывеска под крышей вокзала пьяно покосилась, вот-вот упадет. Прыгай же! Ну!

Кудрявая толстая проводница в вагонных дверях надменно вздернула подбородок. С закрученным в трубочку желтым флажком важно застыла, бронзовый монумент. Как

в парке станичном: девушка с веслом. Флажок вместо весла, баба вместо девки, тоже красиво.

– Куда прешься! — Оттолкнула стальным взглядом. — Не видишь, тронулись уже! Прыгучий!

– Тетенька, я...

Зашарил в кармане, вроде как билет искал.

– Опоздал!

– Теть, я из третьего вагона, пустите, уж не добегу...

– Заяц!

Поезд медленно набирал ход.

Колька бежал рядом с вагоном. Умоляюще, умильно на проводницу глядел. Мешок подпрыгивал за плечами.

– Ну честно, теть!

– Не видишь, я ступеньки подняла!

Поезд перестукивал колесами все громче, невозвратимей.

Оглушительно засвистел паровоз. Выпустил струю белого жаркого дыма.

Проводница ногой отвалила железную плаху. Лестница лязгнула. Колька проворно, побезьяньи, взобрался по ней. Раз-два – и в тамбуре.

– Ну! — Раскрытая, властная ладонь проводницы – у самого его лица. — Где билет?

Проскользнул под толстым локтем ее. Крутанул железную ручку тяжелой, как баржа, тамбурной двери. Как бежал, сломя голову, по вагонам, на ноги людям наступая, чемоданы чужие коленями сшибая – не помнил.

В себя пришел только тогда, когда, летя по еще одному, набитому потными людьми вагону, услышал, как в спину кинули ему жесткий, острый крик:

– Куды несешься, хлопец! К машинисту?! Дык вин же ж тоби у топку кинет!

Ноги в пол вросли, и пол качался, стучал под ним. Обернулся к дядьке, что осадил его на ходу, как коня.

– Так я...

– Вижу, вижу жопу рыжу, — беззлобно бросил мужик. Рука у мужика висела на косынке, сломанная, в гипсе, и марля вся в угольных пятнах, грязная. В углу рта – трубка погасшая: не курить, не сорить. — Беспризорник? Ясно дело! Лезь!

Трубку изо рта вынул, ею указал наверх.

Колька взмыл на третью полку живо, как сокол ясный. Мужик подбрел, шатаясь, завалил его узлами, закрыл чемоданами.

– Коли посикать пожелаешь – прочирикай, выпущу, — просипел.

Поезд уже набрал ход, за окном мелькала, летела горячая, жгучая родная земля, пахло перцем, огурцом, курицей и горилкой – народ развязал дорожные сумки, еду достал, разложил на столах, угнездил на коленях. Время обеда, все ели, жевали. Колька тоже вынул из заплечного мешка свой ржаной. Аккуратно отрезал перочинным ножом горбушку. Эх, жаль, перочинный взял, а то ведь можно было у бати и охотничий, медвежачий, позаимствовать. Побоялся. Постеснялся.

Жевал хлеб с наслаждением. Хлеб, как персик, давал сладкий сок. И запивать не надо. Интересно, на сколько ему того хлеба хватит?

«Ничего. В Жданове сразу – на корабль. Юнгой попрошусь. И там уж... на камбузе... покормят...»

Так же любовно пахучий кирпич в льняной лоскут завернул. Стянул веревку на горловине мешка. Мешок под голову подложил. Спать теперь. Спать. До самого Жданова – спать. Этот состав прямой, он знал, идет без пересадок.

До самого моря.

До него.
До мечты, до любви его.

Ветер ерошил волосы надо лбом, и ему почему-то казалось: волосы светятся, и ответ на лоб ему, на щеки бросают.

А может, это играли светом волны, и блики ходили по его старым порткам и куртке, по лицу, всклень налитому восторгом, по мешку, где уже не было ни ржаного, ни сухарей?

Ржаной он подъял в дороге; сухари отдал нищей старухе – уже в Жданове, когда поезд встал и дальше не пошел, а мужик с трубкой, что сховал его на полке багажной, больно ударил его ребром ладони по торчащей с полки пятке и пропыхтел:

– Ты! Безотцовщина! Давай слазь! Приихав!

«У меня есть отец», — хотел сказать Колька, да умно смолчал.

Ветер. И много воды. Воды целое небо. Целая земля воды. Стой и любуйся.

Колька присел на корточки и потрогал кончиками пальцев море. Море на ощупь было теплое, горячее даже. Как в нем, в горячем таком, рыбы плавают и не сдохнут?

«Не море, а уха. Вся живность давно сварилась».

Опровергая его опасения, мимо его рук, опущенных в воду, проплыл маленький смешной бычок. Колька впервые видел морского бычка и засмеялся ему, как другу.

– Эх ты, какой ты красивый!

Встал. Искупаться? Ну да! Скорей!

Сбрасывал с себя штаны, куртку, рубаху так быстро, будто его кусали блохи, и надо немедленно почесаться. В черных, до колен, трусах остался, замер. Какая большая вода! С целый мир!

Он, росточка маленького, а ведь пятнадцать ему в мае стукнуло уже, вошел в сумасшедшее царство воды смело и гордо. Море обнимало его колени. Море ласкалось к нему, огромный синий зверь. Солнце золотой сороконожкой перебегало по волнам, и волны вздрагивали, сдвигались и раздвигались, и Колька ощутил море женщиной – огромной, животастой, ласковой и опасной, разымчивой и разгульной, то трезвой, то пьяной, — прилипчивой, властной, упрямой. Безмерно красивой. «Вода, я пришел к тебе, большая моя вода. Я – приехал. Я твой».

Без раздумий, вытянув сложенные руки над головой, рухнул, прорезал воду темечком, уже плыл – широко, мощно загребая, вольным стилем, как в Ольховой плавал: то ли кролем, а то ль по-собачьи, пес знает, — плыл и оглушительно пел внутри, пел и орал – беззвучно, без слов – так могуче, что уши закладывало! а может, это просто вода наливалась в уши, и он тряс головой, плывя и правда как пес, большой и худой лохматый пес, изголодавшийся, изжаждавшийся, и вот наконец можно плыть и пить, хоть все море вылакать, даром что горькое, соленое оно!

Он и правда глотнул воды. Вдохнул, и соль забила глотку и легкие, и он кашлял натужно, хохотал и кашлял, и на вкус море под языком ощущал – и правда соленое! Да еще какое! солоней мамкиных соленых помидорчиков из погребницы! — и чмокал, смакуя, и глаза слепли от солнца и брызг, и драло солью глаза, а это ведь он, дурачок, плакал от радости: докатил! Долетел!

«Эх, как бы в Турцию не уплыть!»

Развернулся. Поглядел на берег. Берег был уже очень далеко – в тумане, нежном и дрожащем, как сонный морок. У причала качались на сине-золотой воде настоящие военные корабли; дремали сухогрузы, метельной белизной сверкали морские прогулочные пароходы. Вот он, порт. Порт Жданов. Возьмут, возьмут его юнгой на самый мировой корабль!

Когда вылез на берег – все косточки дрожали, а кожа горела. Солнце и соль, и дикая, как в Африке, жара.

«А если и вправду в Африку поплыву?! Что, сгорю там, поджарюсь?! Должен привыкать! Я теперь – моряк!»

Успел только порты натянуть. Мокрые трусы прилипли к задку. Потянулся за рубахой, прожарившейся до нитки на камнях – а узелка-то с ножом, сахаром, чаем и солью – нет как нет.

– Эх ты! — только крикнуть и успел, как из-под носа ловкая чужая рука стянула сначала рубаху, потом – прокаленную на солнце куртку.

Стоял голый по пояс, в подвернутых до колен штанах, оглядывался удивленно, почти незряче. Где воры? Как смогли?

Увидал: мчатся по берегу двое, на ходу из рук в руки его шматье перекидывают, ржут, коняги, во все горло. На него, остолопа, пальцем показывают.

– Гады! — завопил Колька.

Побежал за ними; ноги несли его быстрее жаркого южного ветра, да куда там!

Те бегали как мастера спорта. Почище, чем на стадионе. Бесполезно соревноваться.

Устал. Запыхался. Сел на камни. Море плескалось рядом, теплая вода омывала, собакой лизала ступни.

– Чертова работа, — процедил сквозь зубы. Батя его всегда так говорил. — Ну и куда я теперь без одежды? Нищий я теперь! Милиция отловит...

Плакать хотелось мучительно. Запрокинул лицо, чтобы слезы втекли обратно в глаза. Он понял стыдно и поздно – какой же он еще ребенок.

Его взяли быстро и просто, в порту. Подошли два милиционера, откозыряли, попросили документы. Колька развел руками: нету документов!

– Ты шо, Петюнь, не видишь, то ж еще пацан...

– В школе учишься? Где? В какой?

Колька молчал как рыба. Милиционеры зашли ему за спину и взяли его под локотки.

– Так, отлично. Не учишься, стал-быть. Стал-быть, воруешь? Жить-то надо?

– Надо, — послушно кивнул Колька.

– И чем живешь?

Они, все трое, уже шли, и Колька понимал: ведут в участок.

– Ничем.

– Как так ничем? Вранье это. Чем-то ведь живешь? Или ты не живешь?

– Не живу. Я вам кажусь.

– Тю! Он еще и дерзит! Кутузку получишь.

Так шли, препираясь, переругиваясь, разговаривая странно, обрывками, вскриками.

В участке грузный начальник в огромной, как сковорода, фуражке внимательно прощупал Кольку всего, до мышцы, до косточки, хитрыми и умными глазами. Колька переступил с ноги на ногу и поежился. «Тюрьма не такое уж жуткое место. Там... харч дают... и гулять тоже выводят...»

Сковорода шлепнул ладонью по зеленому сукну стола:

– Все сразу вываливай, шкет. У меня на тебя времени нет. Обокрал кого?

– Это меня обокрали, — сказал Колька. Слезы сами потекли, он шмыгнул носом. Дрожал, мерз, несмотря на жару, спина и тощая грудь пупырышками покрылись.

– Ну вот что, огурец маринованный, — зло выцедил начальник, — не бзди тут мне!

– Я... я не...

– Откуда? Быстро говори. Ждановский?

Кольке пришлось выложить Сковороде всю правду.

Когда его вели ночевать в камеру, он плакал уже в голос, прикрывая лицо рукой, чтобы милиционеры не видели его слабости и стыда, и бормотал – то ли себе, то ли тюрьме, то ли мрачным бритым опасным людям в камере:

– Не возвращайте меня домой! Я – к морю ехал! Я – на море хочу!

Той ночью в камере его жестоко избили.

А за то, что ревел, тюрю, коровища, недоделок, и спать честным вора м мешал.

Колька, избитый, лежал на нарах и старался не всхлипывать.

«Скажешь, шо это мы тебя отдубасили – наши на воле устретят и еще столько ж наподают, понял? А то и скобу под ребро засандалят, учти», — ласково, вдумчиво сказал ему тот, кто бил больше всех.

Утром его вывели из камеры. Участковый с сомнением глянул на синяки, кровоподтеки на Колькином лице и груди. Брезгливо пошвырялся в шкаф, вытащил дырявую рубашку, презрительно кинул, и Колька поймал.

– Приоденся. Радуйся, что – жара. Шуб тут для преступников не держим. Сегодня первым пассажирским тебя домой отправим. В Марьевку. И пусть мать за тобой шибче гоняется. Шибче, слышал?! Ловит тебя, голубя, за ногу! И пусть в аттестат – за поведение – двойку впишут! Слышал?! Двойку!

У Кольки в ушах звенело.

– Я не глухой.

– А я слепой, да?!

Перестук колес. Перестук сердца.

Жизнь, отмотанная назад.

Море, покинутое.

«Море, я тебя еще увижу, море».

Когда на пороге избы встал, в чужой, не по росту, рваной рубахе – а может, с бандита какого сняли и заховали, — блестя глазами голодно, терпеливо и просяще, Евдокия кинулась к нему и так крепко обхватила руками, грудью, животом, всей шкурой, плотью всей звериной, матерней, рожавшей и дрожащей, будто бы он умер – и вот воскрес.

Летний сад. Ленинград. 1937 год

Коля на скамейке в Летнем саду

Свернул пиджачок и под голову подложил.

Не спать хотел, не дремать, нет; так, полежать просто.

Кто ему сказал, что на скамейках тут лежать нельзя? Никто.

Деревья нежно переговаривались между собой, колыхались и шуршали темной пыльной зеленью, бормотали невнятно; птицы переругивались, перекрикивали друг дружку, а потом украдкой, примиряясь, целовались в ветвях крошечными, как алмазики в женских часах, клювиками. Статуи белели во тьме, а на солнце мерцали восковой, старинной грустной желтизной.

Смежить веки, закрыть глаза на миг. Блаженно вытянуть ноги. Высокий, рослый парень. Разлежся во всю скамейку! Ноги торчат. Они всегда торчат. И с вагонных полок. И когда в автобусе сидит – колени не знает куда девать: то раздвигает, то утискивает голени под сиденье, – и все зря. Метр девяносто три. А царь Петр Первый, учительша в Марьевке брехала, выше двух метров был.

Гроб-то какой ему сработали, Петру?

Град Петров... Петров град... Петро-град... Петро... Ле-нин... Ленин... град...

Без жилья. Без хлеба и воды. Знакомых – никого. На улицах полно народу, и жжет золотом, золотой царской нитью прошивает насквозь промозглые бедняцкие тучи Адмиралтейская игла, — а родных – ни души. Мальчик, ты зачем один приехал в Ленинград? А на моряка учиться.

Мальчик, как же ты поступишь учиться на моряка, ведь экзамены давно кончились!

Я у директора попрошусь, прямо директору и сдам, он примет, если добрый.

Ха, ха, парень, ну ты и фантазер! Какой директор, какая доброта! Ты знаешь, куда ты приехал?

Знаю. В Ленинград. А с платформы говорят: это город... Ленинград...

Мальчик, зачем ты уснул на скамейке в Летнем саду?

Я не уснул. Это вам только кажется. И мне только кажется. На самом деле я бодрствую и вижу, и слышу все.

И все, все запоминаю.

Зачем ты все запоминаешь?

А память такая у меня. Хорошая.

Я помню даже то, чего не было.

И то, что еще только будет.

Значит, ты помнишь, мальчик, что начнется война?

Да. Помню. Начнется война.

Самая страшная война в мире.

И такой уже больше не будет никогда.

Врешь! Будет! Будет другая война! Та будет самая страшная.

Откуда ты знаешь? Ну, откуда?

Потому что я ее переживу.

А ты-то сама кто такая? Ну кто, кто?!

— ...снитесь! Проснитесь, проснитесь! Проснитесь, молодой человек!

Колька приподнял голову. Пиджак под ухом. Не стянули. В кармане пиджака – документы: паспорт и немного денег.

На этот раз он не тайком из дома убежал. Все матери начистоту выложил. «Хочу на море! Есть такое заведение, где на моряка учат?»

Евдокия не знала. Иван Иванович не знал.

Иван Иванович все чаще облачался в потертую мышиную шинель образца 1914 года. Кутался. Руки подмышки совал. Горбился. Мерз. Из-под полы шинели чекушку доставал; припадал, как к сиське матери. Кадык дергался: он пил. Глоток, еще глоток, еще.

Горилку, как воду, пил.

Евдокия не препятствовала. Чекушку из дрожащих рук не выхватывала.

Спивался Иванович, и сопьется, как пить дать. Зойка, подросток, подранок голенастый, угрюмый, волосы как у княжны – золотом разлетаются паутинным, а рожица мрачнее тучи грозовой, – одна в семействе жалела пьяного отца, бормотуна ночного, надоеду; стягивала сапоги, спать на лавку укладывала. Иванович сопел и дико храпел в хмельном и диком сне, дрыгал ногами, жевал губами лесные, звериные подвывы, хоронил в глотке рьяные пьяные вскрики.

Братья не знали про морское училище.

После Зойки еще брат у него народился. Виктором назвали.

Евдокия любезно пригласила в избу соседа Трунова. Михайло Трунов явился, медвежьими культяпыми ногами тяжело переступая, за стол уселся, ладони потирал, носом водил –

угощения ждал. Евдокия живо выметала на стол из буфета четверть, вареники с вишнями, хлеб порезала тоненько, как в богатых семьях. Самовар булькал.

– Ты это, Михайло, знаешь, иде на моряков-то учат?

Руки Дуни рушник мяли, перебирали, белый как снег, вышитый красными петухами.

– Знаю, — кивнул Михайло, выпил горилки из граненого стакана величиной с гусиное яйцо, крикнул, и от громкого крика в буфете надсадно хрустнуло стекло. — У Ленинграду.

— Проснитесь! Да говорят вам, просыпайтесь!

Разлепил глаза. Рукой махнул, как на муху: улетай, уйди, дай поспать.

Цепкие руки хватили за воротник рубахи, за плечи, тянули к себе, приподнимали с такой теплой и уже своей скамейки. Ворот рубахи хрустнул, шов расползлся. Колька затряс головой, сел на скамейке.

– Ну что вы...

Осекся. Странный седенький старикашка стоял перед ним, маленький гриб-боровик. Тощие запястья жалобно торчали из грязных обшлаггов, белых когда-то – так давно белых, что былая белизна в паровозную сажу обратилась. Старикашка обрадовался, что Колька пробудился; захлопал в ладоши, как в театре.

Колька встряхнул пиджак за шкуру, будто вороватого кота; накиннул на плечи. Листва шумела. Хотелось пить и есть.

– Ну вот так-то, — старичок перевел дух и сел на скамью рядом с Колькой. — Вижу, не беспризорник.

– А почему видите? — созорничал Колька. — На лбу у меня написано?

– Вижу, — тихая улыбка человека забытой лаской мазнула по настороженному лицу парня. — Я все вижу. Насквозь и даже глубже. Издалека приехали?

«Старше меня на сто лет, а на „вы“ меня».

– С Донбасса.

– Ага. С Украины. Выговор у вас не хохлацкий. Чистый. — Старик вынул из кармана замызганного пиджачишки старинное пенсне и стал дотошно, сначала одно стеклышко, затем другое, долго, нудно протирать лохматой тряпкой.

«Это ж платок носовой. Раньше был. Давно».

В блестящем пенсне старик стал совсем франтом.

Колька чуть не засмеялся, когда старикашка изящно откинул руку назад, за спину, и наклонился вперед: это он вежливо кланялся так Кольке.

– Позвольте представиться. Ипполит Сергеевич Кузьмин. А вас как величать?

Колька чуть было не выпалил: «Колька».

Вовремя одумался.

– Крюков, Николай.

– Дитя мое! — Старик назидательно поднял палец. — Никогда не говорите сначала фамилию, потом имя. Это моветон. Представляться надо так: имя и фамилия, или – имя и отчество. Или: имя, отчество, фамилия. И только так! Попробуйте!

– Николай... Иваныч Крюков, — сказал Колька, и на глаза у него навернулись слезы.

Отца вспомнил.

И мать.

«Увижу ли когда? Укатил... на всю жизнь, что ли?..»

– О да! — Старик довольно разулыбался. — И на конвертах, в адресе, тоже так надписывайте: и имя адресанта, то бишь собственное, и имя адресата. Это – бонтон.

– Что такое... бонтон?

– Хороший тон, товарищ. Хороший тон.

Глядели друг на друга, и в старике Колька чуял – ровесника.

– Негде, говорите, ночевать? Ко мне идемте. Слава Богу, мне есть где приютить странника.

Вместе шли по ночному Ленинграду, и Колька глядел на Неву, то блестящей бело-желтой мятой жемчужью, то черным беспросветным, могильным чугуном выгибавшейся под фонарями, под белесым жемчужным летним небом и полной белощекой Луной, на вздыбленных медно-зеленых коней, на памятник Петру – вот он, жуткий безумный царь, и конь змея копытами давит, и башка у Петра бешеная, выпучены глаза, железная рука убийцы вперед, в века протянута, чтобы схватить хищно за глотку умирающее на глазах время, — битвы, победы, поражения, слава, его государство, его царство, возведенное на костях, вскормленное солью бабьих слез и солдатским порохом! а когда честь и слава покупались дешевле?! — на каналы и речки, пожизненно закованные в гранитные кандалы, на подгулявшие ночные парочки – девушки в легких ситцах и шифонах, парни в щегольских пиджаках, а кто и в нищенских отрепьях, а кто и в солдатских гимнастерках: близко война, близко, она, собака красноязыкая, длиннозубая, дышит, Колька, в твой русый затылок.

Глядел, как разводят мосты – первый раз в жизни: и дыхание занялось! — медленно, с натугой, и в то же время легко, будто бабочка крылья разводила, боясь слишком быстро вспорхнуть с синего ночного цветка, поднимались вверх, к звездам, две половинки тяжелого чугунного моста, будто две черных подземных, приговоренных руки напоследок пытались белое небо обнять.

Один развели. Вон второй разводят. Колька и старик шли от моста к мосту, и Колька дивился – почему фонари в Неву не падают! Ну да, крепко привинчены.

Вместе с Ипполитом Сергеичем прибрели к нему домой. Колька поздно догадался: нарочно старикашка водил его по ночному городу, – чтобы показать пареньку его красоту, его мощь, его печаль. Не знал Колька названия улицы, да на вывеске прочитал: «ЛИТЕЙНЫЙ ПРОСПЕКТ». Литейный, железо здесь раньше лили?

Долго поднимались по лестнице. Под самую крышу. Колька даже устал и дышал часто, ртом воздух хватая. Старик открыл сказочным ключом нищую ободранную дверь.

– Живу в мансарде, — приглашающе, радушно округлил руку. — Вы, юноша, небось, в мансарде тоже впервые?

Все впервые. И зеленый чай с жасмином. И тонкие ломти лимона. И бутерброды со старыми, сохлыми, парчовыми шпротами. И чашки темно-синего фарфора – и старик нежно, как женскую грудь, гладит чашку и лепечет: «Гарднер». И странный белый шкаф с отгибающейся ручкой, называется «холодильник», и старик то и дело лезет в шкаф, а там – внутри – вместо полок – решетки, и почти ничего нет, пусто, только вскрытая банка консервов – а последняя шпротина уж доедена – и в масленке – прогорклого сливочного масла белый брусок. И свечка на столе, в медном подсвечнике – и снова табачные пальцы старика жадно и жалко прикасаются к красной грязной меди, и шепот жжет Колькино ухо: «Родовой. Еще елизаветинский».

Свечка лижет бело-голубым языком тьму. Свечка чадит, трещит и гаснет. Старик зажигает зеленую настольную лампу, потом опять чиркает спичкой, и опять горит свеча, оплывая тягучим сладким воском, исчезая на глазах, превращаясь в гарь и слезы, в воспоминания, во тьму.

– Николай Иваныч, разрешите, я покурю?

Колька смущенно кивает.

– А вы не курите?

– Нет.

– Похвально, юноша, похвально.

Колька следил, как сухая коричневая рука старика медленно, с сонной и гордой грацией движется от губ – к хрустальной пепельнице, от пепельницы – опять к губам. Дым папиросы пах вагонной тоской и дорогой. Тюрьмой пах. Теплушкой пах. Пах – отчего-то – ружейными шомполами, и криками расстрела, и вольной волей, когда – сапогами казенными – на белом снежку, под чистым небом, и никаких сигарет в зубах нет давненько, только махорка, она, родимая. Когда – не по-французски, а по-русски бьют тебя в карцере, с холодных нар сорвав. А еще чем пах дым? А, да: кафе на углу Невского и Фонтанки, и поэты читают стихи, и девушки тяжело и сердито дышат дымом, накурено густо, мощно, и закрывают носы кружевными платками, и на платках – кровавая модная помада – сердечками отпечатывается.

А еще чем пах?

Господи, чем же... тем, что еще до рожденья его...

«Правду мамка в Марьевке говорила: я полоумный, я вижу картины. Что я вижу?»

Он видел выгиб потолка. Белые своды. Сидит человек. Бородка, усы, жилетка, на жилетке – на цепи позолоченной – старый брегет. Он бьет урочный час. Малютка сынок сидит у ног на резной деревянной скамеечке – ту скамеечку подкладывает под ноги его жена, когда играет на рояле. Рояль – белый, и женушка – беленькая, и сыночек – ангел.

Люди, не расстреляйте моего сыночка!

Меня – можете! Жену – о Господи! Но сыночка, сыночка не троньте!

Ну ведь вы же люди... прошу вас... прошу...

Папироса докурена, искурена до пепла, до блеска зубов в пустоте. Горелая бумага рассыпается в пальцах. Старый сморщенный рот пахнет дешевым табаком. Самые дешевые папиросы, «Норд». Темный табак грубого помола. В разводах дыма Колька увидел всю иставшую, слезную жизнь.

«Люди... люди... Зачем люди живут на земле? Зачем люди живут... умирают...»

Старик замял окурки в пепельнице. Глаза его горели ярче свечки.

«И я тоже умру. Но не теперь! Не теперь!»

– Вы, милый друг, приехали в Ленинград новой жизни искать?

– Как вы это... хорошо сказали...

– Я вам помогу. Вы работать хотите? Или – учиться?

– Учиться.

– Где, позвольте спросить?

Изморщенные, цвета дубовой коры, жесткие руки мазали старым маслом старый хлеб.

Старик делал Кольке новый бутерброд.

– В... военно-морском... училище имени Фрунзе!

– Вольно! — Старик хлеб с маслом Кольке протянул. — Будет вам сие училище!

«Колдун, чи шо?..»

– А вы это... Ипполит...

– Сергеич.

– Ипполит Сергеич... почему все время мне – «вы» говорите?

Совьи глаза, глубоко глядят. Далеко глядят. Печально глядят. Знают все. Ничего не отвратят. Все понимают. За все благодарят. Все любят. Все – прощают.

– Хорошо... сынок. Я буду тебе говорить «ты».

Кольке петля горького воздуха глотку захлестнула.

Старик понимающе кивнул, по плечу похлопал.

Ничего не сказал. Не утешил. Не насмеялся. Брови не свел грозно.

Чисто, до светлого ангельского дна, до дня, где кровь ползла по виску его отца, по груди его матери, сияли старческие, всевидящие глаза – живопись такие глаза видят, и любовь видят, и войну – да, войну, – и море видят, и корабли, и что-то еще такое в туманной дали видят, о чем нельзя сразу говорить людям: люди, только пожив всласть, все сполна пережив,

лишь на земле дорогу из конца в конец пройдя, могут увидеть то, что сейчас видит старик, питерский ботик, странный человек, — ходит по земле, по разведенным мостам, и не падает, как чугунный фонарь, — по воздуху ходит, по пожарам, по смертям, по пеленкам грудничков, по глине могил, — ходит и ходит, и курит, руку отводя, и в чистый хрусталь снегов и метелей пепел, пепел сыпает.

Ипполит Сергеевич Кузьмин хлопотал за Кольку, и Кольку во Фрунзенское военноморское училище – взяли.

Сам директор взял, как Колька и мечтал.

Мечты сбываются.

Так мамке он и отписал:

«Здравствуйте, все дорогие родные, мама Евдокия Семеновна, отец Иван Иванович, сестра Зоя и все любимые братья! Я в Ленинграде хорошо устроился. Приняли меня в Военно-Морское Училище. Я теперь курсант. Живу я в общежитии. Мне морскую форму выдали. У меня есть уже бескозырка, потом летняя форма №1 и зимняя форма №2. Харч в столовке знатный дают, все время хорошая каша, тишенная, когда перловая, когда рисовая, когда ячневая, и с маслом. Особенно мы все любим гречневую кашу. На занятиях вроде все понимаю. Особенно нравятся уроки географии. Нам учитель рассказывает про Мировой Океан. Еще очень нравится Минное дело. Нас в этом году обещают послать на практику на линкоры. Очень жду этого момента! Дорогая мама Евдокия Семеновна, кланяйтесь всем соседям и родным, не скучайте обо мне, приеду домой на побывку, не узнаете меня! Я тут уже откормился и стал настоящим бравым моряком! Умею уже бороться, и стрелять уже умею хорошо, нас водят на стрельбища. Спим все крепко, побудка ранняя. А очень помог мне поступить в Училище один очень, очень хороший человек. Я потом Вам о нем напишу, или приеду расскажу. Всех крепко целую и обнимаю! Пишите, вот адрес...»

Он никогда уже не скажет ни матери, ни отцу, ни братьям, ни Зойке, никому в жизни, что смешной и странный старик, морщинистый ангел, умер на другой день после того, как Кольку оформили во Фрунзенку курсантом, и он стал, как в Питере говорят, фрунжак.

Он только запомнит бесконечную лестницу наверх, и опасно, больно распахнутую дверь в мансарду, и веселую пляску пыли в остром, как от маяка, солнечном луче, и лежащего на спине на продавленном диване Ипполита Сергеевича – рука-коряга на груди, в судорожно сжатых пальцах дотлевшая папироса, на столе догоревшая свеча, и банка шпрот пустая, одно темно-золотое, горькое масло на дне, и пахнет копченой древней рыбой, и пахнет морем, и смерть стоит рядом, молча и строго, и вместе с Колькой глядит на мирно лежащее тело – уснул, сморился, ангел милый, спи, дружок.

*С. Н. А. с обезьянкой Сонечкой на руках
Владивосток, 1941 год*

Валы катят. Огромные валы.

Океан – не море. У океана огромное, длинное дыхание.

Длинный тяжкий вдох. Бесконечный выдох.

Соль и горечь рыданья, белозубой пенной улыбки.

Стоять на берегу океана с женщиной – вот счастье.

За их спинами – далеко – белый город: отсюда он маленький, как пряник на ладони.

– Владик какой красивый, — нежно говорит женщина.

Когда они рядом, так близко, как сейчас, хорошо видно: она старше его. Намного. Может быть, вдвое.

Она могла бы быть матерью ему.

Но это неважно.

Важно то, что она – его женщина.

Вот она стоит на берегу, с серой смешной обезьянкой на руках, и смотрит вдаль.

– Да. Очень красивый. Софья!

Они обернулись обе – женщина и обезьяна.

– Да?

– Ты не замерзла? Ветер.

Она повела плечами под батистовой кофточкой. Слишком сухопарая. Чересчур, как у спортсменки, втянутый, впалый живот. Она шутила: «Ко хребту пузо присохло». Он целовал этот живот, эти крепкие, в перекатах почти мужских мышц, маленькие руки. Горячая кожа, потом прохладный, мятлый провал. Однажды ночью она ему сказала: «Коля, все мы состоим из пустоты». Он слепо нашарил коробку с папиросами около изголовья, закурил, красный уголек сигареты судорожно ходил ото рта к пепельнице, качался во тьме. «Не понял». Софья приподняла уголки губ. «Молекулы. Атомы. Между ними такие огромные расстояния. Как в космосе между звездами. Мы думаем, что мы есть. На самом деле нас нет. Есть только сгущение материи. Так что не бойся смерти. Мы – пустота, и уйдем в пустоту». Он схватил ее за голые смуглые плечи, затормозил, зацеловал яростно: «И любовь – что, тоже пустота?! Да?!»

– Нет. Мне хорошо. Люблю ветер.

Шагнула к нему, и обезьянка пронзительно запищала у нее на руках, всползла выше, на плечо, и так на плече сидела, как курица на насесте, глядела круглыми умными глазками на океан.

Николай погладил Софью по щеке. Овал лица в виде дынной косточки. Брови чуть подняты к вискам. «Она похожа на японку».

– Когда твой... из похода вернется?

Подобие улыбки пробежало по бледно-розовым нервным губам.

– Уже не вернется.

Крюков отступил на шаг.

– Что...

– Да нет, ничего. Жив. — Улыбка явственной стала. — Просто мы расстались.

– Почему? Из-за меня? — Ветер выносил, вил ленты бескозырки впереди его загорелого лица. — Глупо. Ты написала ему, что полюбила другого?

– Он сказал мне, что полюбил другую. Позвонил из Токио.

– Вот как.

Глаза бегали, ощупывали ее лицо. Рука взметнулась, потрепала обезьяну по загривку.

– Так что я свободна как ветер. — Софья раскинула руки. — Ветер!

Подошла к кромке прибоя.

– Сонечка, душечка! Искупись! Боишься водички?

Обезьянка ловко, цепляясь пальчиками, покарабкалась с плеча – к ногам в лаковых узконосых туфельках, на землю. По россыпи гальки ступала на четырех ногах. Потом на задние ноги встала и ручки вскинула. Море приветствовала!

Отпрыгнула – вода ей голые пятки лизнула.

Софья села на корточки, взяла обезьянку за лапку, указывала на воду:

– Ну давай же, давай! Поплавай!

Николай подскочил и под тощей задик подтолкнул обезьяну; она не удержалась и смешно кувыркнулась в воду головой. Забила ручками-ножками, пытаясь плыть, выплыть.

Софья хохотала, а Крюков кричал:

– Не захлебнись! Чемпионка!

Вынули мокрую обезьяну из воды. Она дрожала. Серая шкурка слиплась от соли. Софья спустила с плеча ремень сумочки, вынула носовой платок, крепко растерла Сонечку.

– Домой придем – душ примешь, Сонька, мохнатая ты ручка...

Теперь Крюков мокрую обезьяну на руки взял. Так шли по берегу – моряк в широченных брюках клеш, женщина в черной юбке и прозрачной батистовой кофточке, а с ними смешная обезьянка ручная.

«Святое семейство, ага». Обезьянка обвила ручками Колину шею. Софья косилась. Йод и соль океана ударяли в ноздри, насыщали легкие волей и тревогой.

Они, все трое, шли к Софье домой.

Теперь – к одинокой Софье.

К Софье Николаевне Антоновой, бывшей жене морского офицера Семена Антонова, что ходил на корабле «Серебряков» по Северному морскому пути.

– Тебя на сутки отпустили с корабля?

Спросила заботливо, как мать.

Ветер положил ему на губы черную ленту бескозырки.

– Сегодня в двенадцать ночи конец увольнительной.

Крюков – матрос на миноносце «Точный». Из Ленинграда сюда, на Тихий океан, практику назначили проходить. Третий курс Фрунзенского военно-морского. Как познакомился с Софьей? Да просто, на вечеринке, случайную девчонку подцепил в увольнительной на танцах в клубе, та пригласила с ходу: «Айда к подружке моей, у нее сегодня день рождения!»

Пришли. Подружка совсем взрослой оказалась. В черных волосах – вымазанные мелом времени пряди. Стол от яств ломился. Крюков тарачился, как в цирке: никогда не видал ни анчоусов, ни лобстеров, ни желтых солнечных кругов разрезанного ананаса! Хозяйка сразу понравилась: ноздри породистые, ножки стройные, смеется мало, улыбается много, зубки мелкие-ровные, кормит от пуза, пластинки красивые крутит: хор мальчиков, песни Дунаевского, арии из модных оперетт.

– Хотите Клавдию Шульженко?

«Хотим, хотим!» – вздымали хрустальные рюмки гости. И водка, вино проливались на скатерть. Гостей немного, но все уже перепились – и девки, и парни, и прилично одетые мужики, и даже Колькина девчонка домашней наливки наглоталась, глазки враскосец. Софья поставила пластинку, и голос обволол матроса с головы до пят:

– Осень, прозрачное утро, небо как будто в тумане...

Пьяные гости повскакали. Еще и танго ухитрялись танцевать! Чуть не падали. На мебель валились. Смеялись, обнимались: в танго все позволено! Софья встала, спина линейки прямей, к Николаю шагнула.

– Белый танец. Дамы приглашают кавалеров, — усмехнулась.

Думала: впервые танго танцует матрос, — а он-то взял да уверенно повел, шагом широким, рука на талии властная, веселая! У них во Фрунзенке все танцы танцевать учили: и вальс, и танго, и медленный фокстрот, и быстрый, и даже пасадобль. Тонкие черные, искусно выщипанные брови Софьи на лоб взлетели.

– Чему вы удивляетесь?

Задыхался: от радости. Водка в голове гудела.

– Вы отлично танцуете.

– Я не только танцую отлично.

– А что, еще и поете?

– И не только пою. Хотя да, пою, под гитару.

– Да вы нахал.

Николай плотнее прижал ее к себе и отогнул назад. Игла сорвалась, с хрипом и свистом побежала по пластинке, процарапывая ее больно, калеча.

Они не помнили, как гости разошлись, разбежались, уползли. Счастье, что никто не заночевал под столом. Не помнили, как обнялись. Им казалось: они обнимались всегда.

Чистые, хрустящие простыни поразили его в самое сердце.

И запах, этот дразнящий, печальный запах лаванды.

Духи стареющей женщины.

Да она и не скрывала свой возраст. Ни от себя; ни от него.

В постели она внезапно стала такая маленькая, как ребенок. Или это он такой огромный? Клал ее себе на живот, на грудь. Она лежала, как цирковая обезьянка, показывала в улыбке мелкие зубы, они блестели в свете зеленой настольной лампы. «Я свет не выключаю, чтобы тебя видеть». Целовалась так жадно – вот-вот съест, проглотит. Изголодалась.

И он изголодался.

Уснули под утро. Крюков в пять утра вскинулся – глянул на будильник на полированной тумбочке: пять утра! В шесть надо, как штык, быть на корабле. Будить Софью не стал, беззвучно с дивана скатился.

Когда брюки напяливал – ее пристальный, свежий взгляд поймал: будто бы и не спала.

На насмешку сорвался:

– Наблюдаешь?

Она перевернулась на живот. Лежала голая поперек широкого дивана, как на пляже загорала.

– Я тебя уже изучила.

– Ну и как я тебе?

Уже около дверей стоял.

– Ничего, — лениво протянула она. — Неплохо. Еще придешь? Адрес запомнил?

Крюков повернул ключ в замке, обернулся к нагой Софье и отдал честь.

На миноносце «Точный» команда отправилась из Владивостока на юг, через Японское море и Желтое море – к экватору. Учебное плавание? Нет, настоящее! Это их, курсантов, носом, как котят, в морское дело тыкают. А бывалые моряки терпеливо учат: это так, а вот это – эдак.

Чем отличается вода разных морей?

Да ничем. Всюду – солнце. Всюду – в штиль – легкая, быстрая серебристая рябь. Всюду – в шторм – грозные валы до небес, и мутит, и блевать тянет, и опытные моряки посоветовали: отрежь ломтик лимона и соси, легче станет.

Бортовую качку Коля легче переносил, чем килевую. Килевая – выматывала окончательно. Пластом лежал на койке, привинченной крупными болтами к стене; ненужный лимон сгустком золота, желтой гранатой катался по каюте под кроватью, взад-вперед.

Нет, воду все-таки различал. В Японском море – густо-синяя, в солнечный день – яркий, веселый изумруд. В Желтом – грязная, и вправду буро-желтая. Когда старпом сказал: «Скоро экватор!» — долго вглядывался в сине-серую даль, следил взвивы гребней: не поверил, что так далеко уже от дома. От Родины.

Все та же вода. Волны все те же.

А жара – иная.

Моряки все высыпали на палубы. Белые бескозырки шляпками белых грибов – под неистовым солнцем. Пот по лицам течет.

– Эх, ребята, ну у вас и мокрые рожи! Как из бани!

– Баня, она и есть баня... Экватор...

– Спроси командира, можно ли окунуться.

– Какого лешего окунуться! Тю, сдурел! Че, с борта прыгать будешь? Тут же акулами все кишит!

– Не, ну сдохнем от жары... честно...

Крюков подошел к капитану. Капитан «Точного», Александр Гидулянов, крепьш, лицо-колобок, ноги-кегли, сам отдувался, потное лицо обшлагом утирал.

– Товарищ капитан, разрешите обратиться!

– Сам вижу, жарко, — кивнул Гидулянов. — Есть одна идея!

Идею осуществили. Взяли огромный брезент, на крючья подвесили, в воду опустили; получилось подобие брезентового бассейна. Моряки сбрасывали одежду, с восторгом, вопя и хлопая себя по груди и ногам, попрыгали в океан. Плавают, как в тряпичной кастрюле! Одни головы видны!

Парни в теплой, соленой лохани плавают, а рядом с ними – по загнутым краям брезентухи – акулы плещутся, морды высовывают. Играют!

– Ребята, а они похожи на дельфинов!

– У, злыдни...

– Ты, слишком к ним не приближайся! Нос откусят!

Брезент на палубу поднимали вместе с купальщиками.

Николай видел голых товарищей, моряков своих родных; руки-ноги загорелые, черные, а животы-зады – беленькие, младенческие. Молодые бычки, широколобые телята. Как вам жить? Как быть? Море – дом родной. Говорят, скоро будет война. «Говорят, что кур доят!»

Из того похода на экватор Николай привез Софье подарок: маленькую обезьянку. Заходили в порт Шанхай, капитан Гидулянов в шанхайском госпитале навестил больного консула Советского Союза, и консул ему свою домашнюю обезьянку сосватал: возьми да возьми, пропадет она тут, я по больницам скитаюсь, с женой развелся, детей в Союз отправил... ухаживать за зверем некому, сжался, а?

Сжалился капитан.

А потом Крюков у него обезьянку ту переманил: она радостно переселилась в каюту к Николаю, он ее из рук кормил, с ней забавлялся. Пытался учить ее считать, говорить и даже петь. Петь она быстро научилась: Коля играл на немецкой губной гармошке, обезьянка, умильно сложив голые розовые ладошки, смешно подвывала. Матросы хлопали в ладоши: браво, бис!

А во Владик пришли – капитан так и сказал: бери, Крюков, зверя, он к тебе больше привык, чем ко мне! И Коля обезьянке в каюте даже кровать соорудил, из старого ящика из-под боеприпасов.

Увольнительных капитан матроса Крюкова не лишал никогда: вел себя примерно, служил исправно.

Про то, что у Крюкова возникла на берегу страсть, Гидулянов быстро догадался. Но не придерешься: матрос возвращался на корабль всегда без опозданий. Только бледный очень. Куда и загар девался после ночи любви.

А потом, однажды, Коля принес Софье обезьянку в подарок.

Коля звал ее Феклой.

Софья же сморщила нос: фи, Фекла! Крестьянское имечко. Назови как хочешь, пожал плечами Крюков.

Софья назвала обезьянку – Сонечка.

Как себя.

И Крюкову не раз казалось: она у бездетной Софьи – ее ребенок.
Уродливый, грустный, мохнатый, смешной, любимый.

И еще один день, и океан льнет к ногам, как преданная собака.
И еще один вечер. Прекрасный, как все с Софьей.
Каждая минута и каждая секунда с ней – прекрасна.

Чашка крепкого красного шанхайского чая. Откупорена пузатая бутылка синего бомбейского ликера. Самый дамский напиток. Софья пьет мало. Скромно, как птичка. Ей нельзя спиртное – у нее аритмия. «Что такое аритмия, Софья?» Она грустно улыбалась, и обезьянка весело повторяла ее улыбку. «Когда сердце не знает, куда себя девать. И выпрыгнуть из груди хочет». Он обнимал ее за плечи, как старый муж – старую жену. «Тогда у меня тоже аритмия». Отгибал ее голову, припадал губами к губам.

Сердце рисовало вензеля. Выкидывало коленца. Сердце становилось большой рыбой, хищной акулой, и хотело крови, боли, еды, – любви. Хотело выпрыгнуть из океана разлуки – на берег, на единственный берег. Ты потонешь в белой соли, в синей бездне! Нет. Никогда. Я выплыву. И я тебя спасу.

Они спасали друг друга. Ласкали друг друга. Софья, голая и грациозная, несла ему в постель на тарелочке бутерброды с икрой. «Я еще получаю паек за мужа. Мы еще не развелись официально». А он правда не вернется, спрашивал Колька с набитым ртом, а вдруг он сейчас откроет дверь своим ключом? Софья, запрокидывая голову, хохотала. Обезьянка хохотала тоже, страшно скаля желтые зубы. «Не откроет! Я замок поменяла!»

– Ник, хочешь выпить?

– Хочу. Но ты же не пьешь со мной. А я не на поминках.

– Ну давай рюмочку.

Подносила ему рюмку, и он видел – ее руки дрожали.

И седую нить в воронье-черных прядях – хорошо видел.

Выпил рюмку голубого ликера. Поморщился.

– Софья, а у тебя водки нет? Что суешь мне дамский напиток...

– Есть. Налью.

Принесла водки. Он глядел в ее прозрачные, холодно-болотные, будто водкой налиты две хрустальные рюмки, пожившие, усталые глаза.

– Софья! Роди ребенка!

– Выпей, Коля.

– Софья! Я серьезно!

– Пей. Устала держать.

Он взял из рук у нее рюмку, резко влил в глотку, занюхал кружевами Софьиной ночной сорочки: уткнул ей губы и нос в плечо.

Когда водочный жар разлился у него по возбужденным, пылающим мышцам и жилам, она сказала тихо:

– Тебе молодая родит.

Повалил ее в подушки. Тискал. Чуть не плакал.

– Нет у меня никакой молодой! Ты – молодая! И будешь молодая всегда!

Подняла руку. Навзничь лежа в подушках, ласкала его теплой рукой, ласкала – чуб, лоб, улыбчивый нежный рот.

– Я могу умереть в любой момент.

– Отчего?!

– От мерцательной аритмии, Кошенька. Ее не лечат. И не оперируют. С этим живут и умирают.

Он покрывал ее поцелуями, раздевал, сдирал рубашку – шея, плечи, щеки, живот, сгибы рук загорались под его губами, вспыхивали и гасли и снова пылали – ярко, в ночи, горело ее сухое поджарое тело, ярче всех ламп, фонарей и салютов.

Ночь глядела на них гигантским перламутровым глазом близкого океана.

Дом Софьи на самом берегу стоял – выйди из подъезда, и океан в тебя волной плеснет.

– Софья... ты океан мой...

– Дурачок. Я всего лишь женщина твоя. Одна из твоих женщин. Их у тебя... еще много будет...

– Не говори так!

И она замолчала.

На всю оставшуюся ночь.

...глаза – куски моря, глаза-волны, глаза плещут океанскою солью. Ладони превращаются в глаза и видят. Живот – огромный глаз, он тоже видит – слепым зрачком пупка. Все есть зренье, и все есть цвет. Свет и цвет. Все хочет видеть и жить; и он хочет всегда видеть – и жить тоже всегда. А можно ли жить всегда? Есть ли бессмертные люди? Если бы были – все бы о них знали, вся земля.

Софьюшка! Ты не бессмертна. К черту твою аритмию! Ник, ты не знаешь ничего, что с нами будет. Я хочу написать твой портрет! А ты разве можешь? Могу. Боцман дает мне малярные краски. Я его портрет уже нарисовал. Значит, ты талант? Ник – талант! Софья, если ты не хочешь мне позировать, давай я тебя сфотографирую. И – по фотографии нарисую. Ха, ха-ха! По фотографии – только покойников рисуют. Я не покойница еще. Я живая!

...ты живая. Ты самая живая. Я тебя...

...никогда не говори этого женщинам. Только – любимой.

...но я же тебя...

...целовал ее ладонь, обжигал губами. Мертвенно-голубой океан бельмом, осьминожьим перламутровым ужасом, водяною глубокою гибелью мерцал, качался за окнами, над крышей, над звездами. Океан заполнял собой все пустоты и все ямы. Если вдохнуть воду, когда тонешь, вода забьет легкие, и ты ощутишь дикую, последнюю боль. Тонуть очень больно. Вода – не для дыхания. Вода – для питья. Выпей меня! До дна! Чтобы видно было сухое, мертвое дно. Как при отливе. Знаешь, во время отлива я находила на берегу мертвых морских звезд. Они теряли оранжевый веселый цвет. Погибшие – бледные, серые лежали. Жизнь – это свет и цвет. Она цветная, яркая, вкусная. Любимая. Ты моя...

...нет, молчи.

Хочешь, я сыграю тебе на гитаре? Камин горит... огнем охваченный... в последний раз вспыхнули слова любви! В тяжелый ча-а-а-ас... здесь мной назначенный... своей рукою письма я... сожгла твои... Не играй. Не надо. Лучше – тишина. Слушай тишину. Я слышу твое сердце, оно бьется. Бьется еще? Это хорошо. Хочешь, я разожгу камин?

И письма мои – своей рукою – сожжешь?

...я письма твои целую... И фотографии – тоже... Все думаю: вот тебя с «Точного» на другой корабль переведут – и ты... ни письма... ни снимка...

...дурочка. Я буду тебе их каждый день писать. И из всех портов – посылать. А конверты – духами душишь... твоими...

...ты мой...

...молчи!

...ты мой океан. И я тону.

Кто из них повернул ручку радиоприемника? Зачем?

Может, Софья хотела послушать музыку?

Станный, зычный голос раздался – будто раскатывался над площадью, над великими просторами, под черным приморским небом.

– Сегодня, в четыре часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбежке со своих самолетов наши города – Житомир, Киев, Севастополь, Каунас...

Софья вскочила с дивана. Простыня поползла за ней белой змеей. Подушки на паркет свалились.

Голая, стояла посреди комнаты.

– Молотов говорит, — сказала занемелыми губами.

Початая бутылка бомбейского ликера отсвечивала голубым льдом.

Крюков тоже встал. За папиросой потянулся. Балкон открыт. Свежий воздух по комнате гуляет. Свежий ветер. Хрусталь в шкафу посверкивает хищно. Золотые Софьины часики лежат на туалетном столике. Обезьяна мирно спит в корабельной дощатой кровати – Коля с «Точного» принес.

Часики тикают. Идет время. Идет.

Оба, голые, на сквозняке стояли, слушали.

– Правительство Советского Союза выражает непоколебимую уверенность в том, что наши доблестные армия и флот и смелые соколы Советской авиации с честью выполняют долг перед Родиной, перед советским народом, и нанесут сокрушительный удар агрессору!

Коля курил и сыпал пепел на паркет. Глядел, а глаза не видели. Наши доблестные армия и флот... и флот...

– И флот, — повторил вслух.

«Беломорина» обожгла пальцы. Послюнил, смял искуренный бычок в кулаке.

– Софья. Что это?

Шагнула к нему, грудью прижалась к его груди. Закинула руки ему за шею.

– Это война.

Ночной бриз колыхал занавески.

Обезьянка кряхтела. Пищала тонко. Плакала во сне.

Коля в окопе. Декабрь 1941 г.

Таруса

Снег голубой, жесткий. Можно есть. Пить.

Лицо зарывать в шерсть серого, синего зимнего кота.

Надо смочь.

Страх!

Из всех чувств остался только страх.

Очень большой. Огромный.

Прячь в снег голову, как в кастрюлю.

Взрыв снаряда вместе со снегом вырывает из земли – землю.

Она летит в стороны, бьет чернотой в лицо, в каску.

Каска. Ощупай каску. Она еще на твоей голове, и твоя голова – живая.

Живая.

Жизни уже нет. Ее больше нет.

Что есть вместо жизни?

Страх.

Все врут, что на войне выживают.
На войне все умирают. Все.
Красная Армия пошла в контрнаступление.
Сорок девятая армия; генерал-лейтенант Захаркин. Ты еще помнишь фамилии генералов. Помнишь имена. Ты солдат. Ты обязан знать имена командиров.
Сейчас ты не знаешь и не помнишь ничего.

Есть у тебя жизнь?
Есть, еще кусочек остался, за пазухой.
Как хорошо, отлично, что перед атакой им дают спирт.
Сто грамм. Наливают в каску.
Стаканов тут нету, и закуски нету.
Нет тут ничего, что в мире было.
Спирт пахнет железом и твоей головой немойтой.
Глотнешь – и поймешь: огонь снаружи, и огонь внутри.
И – завеселеет! Будто на танцуйках.
И никакой атаки не будет. Никакой и никогда.

Не высовывай голову из окопа!
Это ему кричат?
Нет. Не ему. Гошке Фролову.
Гошка мировой парень. Он такой чистый. Все грязные, а он – чистый.
Телом. Душой. Чистый весь.
И девушки у Гошки до войны не было.
А у него – Софья. Во Владике.
Настоящая любовница. Прическа как у Дины Дурбин.

Вот и сейчас, скоро, в атаку; и спирт опять по каскам разольют.
Чистый спирт. Спиритус вини.
А на «Точном» они делали ликер из сгущенки, и водку туда лили.
Водка – это тоже спирт, только водой разбавлен. И вся разница.
Неумехи – глотку обжигают, закусывают снегом.
Цап в руку снег – и в рот.
Белое мясо. Белая рыба. Белое сало. Белый хлеб. Белый сахар.
Почему вся самая вкусная еда – белая?
А почему армия – Красная?
И почему, когда видишь кровь на снегу, тебя рвет?

Летянин стоит, поварешка в руках, из бидона зачерпывает. Солдаты подходят, с касками в руках. Земляные стены окопа осыпаются. Мороз их некрепко еще схватил.
Крепчает мороз. Скоро станет лютым зверем.
Убить врага. Убить зверя.
Один зверь убивает другого зверя.
Ты – человек? Еще человек.
Человек.
Потому что ты боишься.

Он тоже подошел, цепляя плечом шинели ледяную землю окопа, и протянул каску: давай, Летянин, жми-дави во все лопатки. Не жалея наркомовской пайки! Поварешка ровно

на сто грамм, что ли? Кто измерял? Наклонился над бидоном, хотел рассмотреть свое отражение в спирте, — да Летянин поварешкой больно хлопнул его по голому лбу: куда суешь нос, все выпить хочешь?! после боя еще дам, если останешься живой! — и он послушно, робко еще ближе каску к Летянину подsunул, и Летянин зачерпнул из бидона прозрачной, ртутно-живой жизни — и плеснул в каску ему.

Он шагнул в сторону, освобождая место следующему. Бойцы подходили и одинаковым жестом протягивали каски. Он понял: это не разные бойцы, это один боец, — и стало еще страшнее. Люди. Кто такие люди? Может, это земля живая, неколебимо, навсегда живая, а люди на ней — только ножки сороконожки, перебирают, шагают, бегут, потом падают — отмирают. И взамен вырастают другие.

Люди-щупальца. Люди-присоски. Люди — гусеницы и черви. Почему жизнь разумна? Потому что разумно все. И червяк думает. И улитка страдает.

Это он только сейчас понял.

Сжимая каску в руках, прижимая к животу, сел у земляной стены, скрючился. Сейчас выпьет, а закуски-то нет. Захмелеет. В атаку побежит вензелями. Стыд! Снег. Спаситель.

Ни капусты сегодня. Ни тушенки.

Он — снегом закусит.

Вечный снег. Эта зима бесконечна. Она кончится тогда, когда ты умрешь.

Когда тебя убьют.

Он ниже, по-бычьему нагнул голову над каской, не каску ко рту поднес, а к каске — голову. Чуть наклонил железную плоску. Спирт вылился сквозь зубы в судорожно дергающееся горло на удивление быстро — даже глотка не получилось: пламя ощутил, жар в желудке, потом красный веселый туман перед глазами заплясал. И все.

Закусывать не надо.

Осмотрелся.

Он видел: бойцы пили так же, как он — украдкой, вроде как исподтишка, вроде они маленькие, а водку пьют без спросу, бутылку похитили из родительского шкафа, и увидит мать, и оплеух надает. Глотали, будто кто над душой стоит, отнимет. Поднимали незрячие лица. Отваливались от касок, как быки — от воды — на водопое. Переводили дух. Нежно улыбались сами себе. Тому, что выпили — живой чистый спирт еще живыми губами.

Он заглянул в каску: пусто. Вытер внутренность каски рукавом шинели. Понюхал рукав. Пахло хорошей водочкой. Как в мирные времена — из рюмки — в застолье. Он видел в Марьевке голод. Чуть не умер с голоду. Он видел красивые праздничные столы в Ленинграде. Он поднимал бокалы с шампанским, бокалы с грузинским вином. Но вкуснее этого спирта перед атакой он ничего не пил никогда.

«Еще бы глоточек!» — тяжело вздохнул боец рядом, и он, не глядя на него, кивнул. Надел каску. Растер ладонью грудь, грубая шерсть шинели окарябала руку.

Сколько времени до атаки?

Если выдали спирт — уже совсем немного осталось.

Далеко, за белым полем, подлесок; и ветер гнет, бьет друг о дружку заледенелые ветки. Он отсюда, из окопа, слышит их легкий звон. Он пьян? Уже бредит? Что ты еще слышишь, душа?

Он прислушался. Солдаты, выпив, загалдели. Сквозь строй голосов он схватил ухом, вдохом, губами тонкий вой, снежный всхлип. Волчонок в лесу? Лисенок? За перелеском — деревня. За деревней, близко, Таруса. За Тарусой — Ока. Река подо льдом. Вот бы на санях проехать, лошадку кнутом постегать.

Не надо стегать; сама побежит.

А их — стегают, чтобы — бежали.

Плотно, умалишенно прижмурился. Вот бы ничего больше не видеть. И что? Сидеть так?

Да, так; покачиваться, напевать песню.

Губы разлепились. Сквозь гул, хохотки, невнятицу голосов, кашлей, матюгов и, шепотом, молитв из обожженной спиртом глотки наружу просочилось это, забытое:

*— Не уходи, тебя я умоляю!
Слова любви... стократ я повторю...
Пусть осень у дверей – я это твердо знаю,
Но нет, не уходи! – тебе я... говорю...
Наш уголок
Нам никогда не тесен!
Когда ты в нем,
То в нем цветет весна...*

Ему каску на лоб, на нос в шутку опустили.

И голос грубый, веселый донесся: «Эй! Песенки отставить! Лирические, твою мать! Сейчас в атаку, а ты что поешь?!»

Да, что я пою?

Что же я пою?

А разве я пою?

Он открыл хмельные, зверино блестящие глаза – и робко, просительно огляделся, будто хотел сказать, выкрикнуть: «Ну дайте я последнюю песню спою!»

Молчали. Уже приказ крикнули, а он и не слышал.

Вместе со всеми он сдернул с плеча винтовку. Штык грязным серебром горел в вечерней сизой тьме, темнело рано, и атаку назначили на пять вечера, он помнил.

И крика: «В атаку!» — не услышал; оглох – от всеобщего воя, плотно сбитого вопля, поднявшегося изнутри, из-под земли, – и люди поднялись из земли одной грязно-серой волной, колышущейся стеной винтовок и шинелей, и побежали вперед, вперед, и он тоже выпрыгнул из неглубокого окопа – на диво легко, будто циркач – и побежал, побежал, вместе со всеми, удивляясь, что пьяные ноги не заплетаются, а пьяные руки хорошо, крепко держат оружие.

Он бежал, громко топая сапогами по земле, и земля отвечала ему гулом, и он радостно думал о себе: слышу еще, слышу, еще бегу! Не убили! «За Родину! За Сталина!» — надрывая глотку, прокричал бегущий рядом с ним Леха Свистун. Леха умел подражать соловью. А еще он свистел «Интернационал» и «К Элизе» Людвиг ван Бетховена. «За Ста...» — вместо крика из груди Лехи вылетел клекот, и он упал, раскидывая руки, но винтовку не выпустил, крепко держал.

Коля обернулся лишь на миг – и увидел, как с головы Лехи скатилась каска, откатилась по снегу, замерла. Черной чашей на снегу лежала. Сумерки опускались слишком быстро, платком на клетку канарейки. Грохот поднялся вокруг: их, бегущих, косил огонь, стрелы огня. Земля взрывалась сзади и спереди, и он, переставляя тяжелые ноги, наклонившись вперед, с винтовкой наперевес, думал: вот вырвет снаряд клочок из земли, и я туда упаду, вот и будет могила. Просто и удобно.

Страх. Где страх?

Страх исчез. Вместо него появилась тонкая и прозрачная, холодная ясность. Он бежал и глядел на все будто на просвет: он видел глубину вещей, видел сквозь мир – глубины земли,

боль неба, потроха убитых товарищей: они падали, падали рядом с ним, прекращая бежать, кто со стоном, кто кричал, безобразно разевая рот, кто коротко ахал и падал навзничь, и глаза не закрывались, и мертвый продолжал в небо глядеть.

Он не видел ничего. Он бежал. Спирт горел в животе, в глазницах, на губах. Спирт, последний поцелуй пьяной жизни. А жизнь, да, ведь она окунает во хмель! Пьешь, все пьешь и не напьешься. Да никто никогда не напьется. Налей! Еще хочу!

– Еще хочу! — дико закричал он.

И сам услышал свой крик.

«Кому это я?» — подумал отчаянно. Бойцы рядом с ним падали и умирали.

А кто-то еще жил.

Он не видел, некогда было смотреть по сторонам; надо бежать, — но остро понимал: не все, кто упал, умер сразу.

Замерзнут. Ночью ударит мороз. Ледяные глаза будут в небо глядеть. Ледяные губы — землю целовать.

Сейчас и я. Вот сейчас.

– За Родину! — крикнул, и крик обжег глотку; и мгновенно охрип.

Потерял голос.

Рот раскрывал, а вместо крика — хрип.

Когда кричишь, легче бежать.

Легче умирать.

– За-а-а-а... Ста-ли-на-а-а-а...

Хрипи, хрипи, выталкивай из себя вон, в стену огня, свое последнее, живое.

Телами Москву заслоним.

Жизнями.

У них — железо, а у нас — жизни.

Смотри. Еще видят глаза.

Хрипи. Еще хрипит глотка.

Рядом с ним боец крикнул, гораздо звончей и громче, чем он: «За Сталина!» — и краем глаза он успел схватить: Гошка Фролов, да, еще бежит, топает рядом.

Огонь на миг угас. Сейчас опять вспыхнет.

Грохот ударил по ушам, лицо опалило, и сознание отнялось.

Очнулся.

Не сразу понял, где он и что с ним.

Шею не повернуть. Больно.

Кое-как перекатился со спины на живот. Голову приподнял, тяжелее гири.

В воронке, вырытой мощным взрывом, лежали бойцы.

Не считай. Не надо.

Все твои.

Наши.

Катился вниз, все вниз и вниз, по плоской выемке ямины. Докатился донизу. И здесь тела. Снаряд попал в гущу бегущих солдат, и сейчас трупы валялись изуродованные — не узнать; не опознать. Пахло кровью. У крови есть запах. Он соленый и сладкий. От него — блевать тянет. Не смотри, говорил он себе, ползая между тел, не смотри, нельзя. Глаза зажмурил. Себя спросил: а ты, ты-то что, жив остался?

На дне воронки, между убитых, гладил руки и лица, касался одуревшими зрачками разбитых черепов. Гляди. Уж лучше гляди. У тебя есть память. Ты — запомнишь.

Зачем? Разве сегодня, сейчас меня не убьют?

Запомни на сегодня, на сейчас.

Сейчас – это почти вечность, если ты жив.

Навалился всем телом на мертвое тело. Уже остыл боец. Как быстро. Он горячий и живой, а труп ледяной. Негнущейся на морозе рукой повернул к себе голову. Голова уцелела, а живот разворочен осколком, и красно-синие кишки лежат смиренно, тихо, мертвые красные змеи: выползли наружу. Голова. Лицо. Полчаса назад это еще был человек.

И вдруг пошел снег.

Он шел с небес вниз, медленно и важно, а может, поднимался с земли – вверх, не понять. Сшивал нежной белой строчкой небо и землю. Синее мрачное небо и черную страшную землю. Белой, наивной ниткой сшивал.

Снег рос и рос, густел и густел, валил и валил, заслонил уже всю мрачную котловину боя чистой веселой белизной; и Коля облокотился на пропитанную кровью землю, локоть ушел в ее холодную мягкость и тьму, и задрал голову, запрокинул лицо, и открыл рот, и ловил, ловил снег губами, зубами, сердцем его ловил, — и снег, осыпаясь с далеких небес, чуял Колино желание и прямо до сердца доходил, и холодом, легким и мятым, его омывал, крестил, и летели с неба белые звезды, тут же таяли на горячем лбу, на горячих руках, и только на горячем бешеном сердце – не таяли, становились бьющейся белой кровью, плачущей белой душой, клочком пара, что излетал из губ, со снегом смешиваясь, — нежностью и памятью, и всякая ушедшая, погибшая жизнь незаметно и горько обращалась в снежинку, в сиянье, в легкое прикосновение спокойной природы к воспаленному, мокрому от слез лицу: в благословенье.

Я не верую, Господи, в Тебя не верую.

Но вот я – видишь – живу.

Я жив. Убили всех.

И командира. И бойцов.

А я – жив.

И мы – взяли; что взяли?

Что мы у войны взяли? Высоту?

Это она – нас – взяла.

Себе в объятья.

Любовница.

Теперь каждому любовница – смерть.

Так все просто.

Снег шел и шел и засыпал его, и он – засыпал под снегом, сворачиваясь в звериный теплый комок, сминаясь, сжимаясь в снежный мокрый ком. Кожа голая, она не согреет его под шкурой шинели. Замерзнет он здесь. Какая разница, от мороза или от осколка умирать? Или от пули? От штыка? От мороза – слаще, горячее. Спишь, и сходит горячий сон.

И видишь во сне – девочку.

Маленькую девочку. Ромашку.

Она идет к тебе в венке из ромашек и поет песенку. Твою любимую.

— Не уходи... еще не спето столько песен...

Еще звенит в гитаре... каждая... струна...

Где страх?

Страх не было.

Куда-то убежал. Исчез.

Грохот продолжался там, далеко, над головой. На земле. В ином мире.
А он – под землей, в яме.
Сейчас его засыплет снегом, и поминай как звали.
Белизна. Покров.
– Мы Тарусу возьмем, — сказал ледяными губами.
Поднялся на руках над смиренно лежащим рядом с ним телом.
Гошка Фролов глядел в небеса.
Лед синих радужек. Незнакомая улыбка. Удивление.
Гошка и мертвый не верил, что мертвый он.
Коля протянул красную на морозе руку, как у вареного рака клешню, и закрыл Гошке ледяные глаза.

Лежал бессильно, раскинув руки, повторяя мертвых.
Не понять, кто мертвый, кто живой.
Снег запорошил винтовку. Вечер катился бочонком пьяной тьмы. Он чувствовал себя внутри ямы, как в трюме. В сиротьем трюме земли. Главный груз – трупы.
Мы родились на земле, по ней ходим, и в нее ляжем. Все правильно.
Раньше или позже – это уже другой вопрос.
Стащил с головы каску. Накрыл ею лицо.
Подшлемник и железо пахли спиртом.
Они все пили спирт ровно час назад.

Его нашла сестричка медсанбата. Уже к утру.
Белый свет тек от снегов.
Сестричка шарила в яме лучом фонарика. Николай пошевелился. Сестричка ахнула, сползла в воронку, подхватила Колю под мышки. Она маленькая, а парень рослый. Как его до верха дотянуть? Надрывалась. Ревела. Слезы ладонью размазывала. Коля застонал и сказал:
– Пусти. Я контужен. Пуля меня обошла. Сам пойду.
Сестричка засмеялась от радости.
Они вместе ползли из ямы – наверх, к снегу, к звездам.
Выбрались. Коля повел головой – и увидел по полю: трупы, трупы.
Поле мертвецов.
– Ты это запомнишь? — спросил, на медсестру не глядя.
– Да, — сказала девочка, пряча седую прядь под ушанку.

«19 декабря 1941 года сорок девятая армия под командованием генерал-лейтенанта Ивана Григорьевича Захаркина взяла Тарусу и двинулась на Калугу и Малоярославец».
Из военных сводок зимы 1941 – 1942 гг.

Ник с гитарой около портрета боцмана на «Дежнев».
Февраль 1942 года
Диксон

Его перевели с Тихого океана на Северный морской путь.
Из тепла – да в холодище.

Все тут, как он и воображал: льдины до облаков, ночное небо – сажа и ультрамарин, торосы встают то ножами, то веерами. Вечерами на западе прорезает синь и черноту плотных

туч ярко-алая, слепящая полоса страшного заката. Такой закат увидишь однажды – и больше никогда видеть не захочешь. А тут он каждый вечер.

Так жизнь падает в ночь. Неотвратимо.

На Севере он лучше и безусловнее ощутил смерть. Не разрывы снарядов, не дикий вой авианалета, не грохот разорвавшейся бомбы – там, под Москвой, все ясно было, понятно, откуда ноги у смерти растут. Здесь все в полном молчании. Лишь ветер свистит в ушах. А море – безмолвно. Смерть вырастает не рогатой миной из-под воды, не серой бесшумной акулой вражеской торпеды: она наваливается кровавым закатом, наступает мощной черной всепоглощающей полярной ночи.

Полярная ночь. Тьма круглые сутки. Немного светает в полдень, и опять падаешь в черную пропасть. И она колышет тебя, баюкает на черной волне.

На корабле ты все время занят; но и работе приходит конец, а собираются моряки в кают-компанию – время скоротать.

Крюков тоже в кают-компанию идет. Лица новой команды уже родные. И вот чудеса – командир корабля – тот же самый капитан Гидулянов, что на «Точном» у них был! Их обоих на «Дежнев» перевели.

Коля не знал: прежнего капитана «Дежнева» убили. Он подорвался на немецкой мине. На сторожевом катере. Ему оторвало ноги, и он, с кровоточащими обрубками, еще долго держался на воде, улыбался тонущему катеру, облакам, льду, последнему небу.

Вот Гидулянов – на его месте.

И никто не знает, кого убьют завтра.

Смерть приходит с черного неба. Она одета в красный балахон заката и с виду совсем не страшна. У нее глаза – колкие звезды, а волосы – Сиянье.

И она все, все тебе простит.

Коротай соленое время, моряк, в обнимку с гитарой!

Пой песни, что любил до войны!

Крюков нежно перебирал гитарные струны и пел тихим, нежным тенорком:

*— Саша, ты помнишь наши встречи
В приморском парке, на берегу?*

Моряки подпевали.

Больше любили суровые, военные.

Среди военных песен и веселые попадались.

*«Три танкиста, три веселых друга,
Экипаж машины боевой!»*

А то ударит Крюков по струнам, зарокочут они, и все примолкнут, а потом дружно подхватят – и с мест встанут, вскочат, в голосах – крепь металла, звон боли:

*— Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой!
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой!
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна...*

Коля не щадил струны, не жалел, бил по ним скрюченными жесткими пальцами, кожу в кровь рвал.

— *Идет война народная,
Священная война!*

Командир Гидулянов в кают-компани на смешной, детской скрипочке играл. Сам низкорослый, плотный, кряжистый, руки большие, башка как тыква, — скрипчонка в ручищах лаковой дамской брошкой глядится. Смычок взлетает, режет воздух, прокалывает дым табачный. В кают-компани разрешено курить. А вот пить — нет, не дозволено.

Курят все. Смолят нещадно. И Гидулянов, сыграв жалобную украинскую песню «Дывлюсь я на нэбо тай думку гадаю», выкуривает жадно, радостно корявую, мятую «беломорину». Жалкая щепотка пепла — от всей радости мужицкой. И снова — скрипку в руки, и кричат моряки:

— Командир! Полонез Огиньского вжарь!

И играет Гидулянов краснофлотцам полонез Михала Клеофаса Огиньского, давно уже ставший слезной и любимой русской музыкой; да какая разница, русский, хохол, поляк? Прощание с родиной — оно одно на всех.

А их Родина где?

А оставили они ее за спиной. За плечами.

И вот теперь защищают.

«Русский, немец и поляк танцевали краковяк... А ведь когда-то и с немцами дружили! И тельмановцы — нам в школу марьевскую — письма присылали! И что? Перегрызлись народы? Где же их коммунисты? В Америку драпанули?»

Командир играет полонез Огиньского, прижав скрипку к подбородку, наклонив любовно, страстно небритую щеку — к вишневой блестящей деке. Дышит тяжело. Воздух ноздрями ловит. Крюков слушает музыку. Крюков — от музыки — плачет. Сначала внутри, сердцем; потом слезы пробиваются наружу, и он отворачивает голову — от матросов стыдно.

Горячие стыдные слезы капаят на гитару. Затекают в круглую дыру в деке. Ленинградский мастер Штейнер, спасибо тебе! Хорошую ты Крюкову гитару сделал, на заказ, и не за плату, а за искусную игру: тебе просто нравилось, как светловолосый румяный юноша на гитаре играет, ты понимал — музыкант пропадает, а может быть, еще только родится. «Молодой человек, вы прирожденный гитарист! И голос у вас — очень даже, очень! Все может быть у вас роскошно, слышите вы меня, старика? Рос-кош-но! Ежели вы будете умником... и не прожжете жизнь свою, не прокурите, не пропете... Ну, да это вам не грозит, вы же дисциплинированный... военный... у вас — вос-пи-та-ни-е...»

Лысый Штейнер, с бабьими букольками седых колтунов за ушами. Очки с плоскими стеклами на лбу, где сотня морщин. Плывут очки по морщинам-волнам, по времени морям, нынче здесь, завтра там. Гитарный питерский мастер; знаменитый когда-то, еще до революции, гитарист, певец. Пел в кафэ и ресторациях вместе с Вяльцевой... Зазой Истоминой... Вертинским...

Коля глядел на Штейнера, когда тот гитары мастерил. Следил за полетом резца. Видел, как Штейнер, губу закусив, натягивает медные витые струны, потом пробует на звук, как на вкус, близко придвинув к вибрирующей струне огромное волосатое ухо.

Это Штейнер рассказал ему байку — да не байку, а быль, — про паука Шульберта, что весь век прожил в гитаре. Паук очень умный был. Выползал из гитары только тогда, когда хорошую музыку играли. Например, «Очи черные». Или там «Ямщик, не гони лошадей». Любил паук Шульберт старинные русские романсы. И цыганские тоже.

С виду Шульберт был такой невзрачный, неказистый: брюхо толстое, ножки мохнатые и длинные, еле гнулись. Старичок, еле полз. Штейнер его ржаными крошками подкармливал.

Послушает романс – и – восвояси. В гитару.

В дырку уползал.

Эта гитара, паучий домик, у Штейнера на почетном месте висела: на ободранной стене – рядом с портретом мадам Штейнер кисти Константина Коровина. «Ах, Костя, Костя, — вздыхал Штейнер горько, — плохо кончил Костя в Париже. Открыл газовые горелки, а газ не зажег. А окна все в квартире позакрывал. Отравился бедный Костя, ой вей! Не дай Бог вот так кончить... вот так... Вы, юноша, смотрите у меня, никогда о самоубийстве не помышляйте, ни-ни! Это самое последнее дело – самому из жизни уходить. Самое главное, мальчик мой, — жить. Жить и в горе, и в радости. Жить! Помните, жить!»

А что потом-то с Шульбертом стало, спросил Коля тихо.

«Ну что, что, будто вы сами не знаете что, — сердито буркнул Штейнер. — Умер Шульберт, вот что».

И, натянув последнюю, самую тонкую струну, придирчиво склонился, касался ухом серебряного дрожанья, и колкие волоски щекотали струну, и чуткие пальцы сухие ее щипали, терзали, а потом ласкали – нежно, чуть слышно.

Коля представил, как беднягу Шульберта вытряхнули из гитары. Как вывалился его черный трупик на простыню, а может, на покрывало, а может, на кресло, а может, на старый паркет. И выбросили его в мусорницу, отнесли в кулечке; а может, веником замели в совок; а может, просто ногой раздавили в тяжелом башмаке, ребристой подошвой. И – все. Мокрое место.

Был паук, что слушал музыку.

И – нет паука.

«Мы все такие пауки. Мы ползаем по земле, песку, снегу. Заползаем иногда в гитару. Там, в гитаре, тепло. И сухо. Там темно. Но сквозь дыру льется свет. И музыка льется. У нас есть дом. Он звучит и поет. Почему гитара – женщина? Потому, что отзывается на ласку?»

Да, как же ты коротаешь время на ледоколе, на твоём новом корабле, военном сторожевике СКР-19, во льдах Заполярья?

А просто: Шульберт слушал музыку, а ты рисуешь картину.

Они все прознали про твоё увлечение – и боцман Василий Петрович, его же Чапаевым прозвали, и старпом, и даже кок на камбузе, и все шутил кок, Крюкову подмигивая: «А меня, меня-то нарисуй у плиты! И как я макароны по-флотски в котле мешаю!» — и Гидулянов, конечно, – командир должен все знать про свою команду, кто чем дышит; а Крюков, выяснилось, дышит живописью, — а где краски берет?

– Матрос Крюков, где краски берешь?

– Виноват, товарищ командир! У боцмана! Малярные!

Гидулянов склонялся над квадратным куском картона.

– Ишь ты... Ловко! Я и не знал, что ты... — Мял губы пальцами, будто пельмень лепил. – Хм! Чуешь цвет. Да и похоже это все, похоже, да... Да, Крюков, задал ты мне задачу!

Ты будто не понимаешь, о чем речь идет.

– Виноват, товарищ командир! Исправлюсь!

– Да ну тебя, – не по уставу махал рукою Гидулянов. — Сиди... рисуй...

Отходил от картона. От матроса, на корточках скрючившегося перед малеваньем своим. С картонки брызгала живая северная весна: Крюков по памяти писал весенний

Североморск, речку Ваенгу, весеннюю сумасшедшую, цветную, светлую тундру. Тундра по весне – чисто ковер. Вся цветами и ручьями выткана!

Боцман навытяжку – перед командиром.

– Матросу Крюкову краски давал?

– Так точно, товарищ командир!

Побледнел боцман.

– Слушай мою команду! Впредь малярные краски Крюкову – на рисунки – давать!

– Слушаюсь, товарищ командир!

Порозовел.

Гидулянов засмеялся.

– Знаешь, я сейчас у него в каюте был. Эх и молодец парень! Так малюет! Загляденье.

– Может, он талант, товарищ командир?

Гидулянов усмехнулся довольно.

– Не может, а так точно!

– Так точно, товарищ...

– Вот и я так думаю!

Матросы подтрунивали над Николаем: мол, сидит в каюте, запершись, в сплоченном коллективе перестал появляться, то ли книжки мусолит, то ли думку гоняет, то ли письмо девушке пишет сто двадцатое!

Из-под двери каюты пахло скипидаром.

Скоро команда узнала про Колино вечернее времяпрепровождение.

И – зауважали все его. Тут уж не до смеха было.

Шутка ли, на корабле у них – свой, корабельный художник!

Кок за глаза стал его Рембрандтом называть.

А Крюков коку – гордо так: «Сам Рембрандт мне не брат».

Но все понимали, шутит.

Нарисовал портрет боцмана.

В благодарность за малярные краски, что в банках железных строгим строем стояли у его железной койки.

Нарисовал портрет корабельного доктора Брена – и долго, покорно доктор сидел на стуле, позировал, спина болела, ноги затекали, а Крюков плевал на время – он не видел, не слышал времени, ведь времени не было. А только – кисти, вязкость масла, острый, почти чесночный дух скипидара.

Нарисовал портрет командира – Гидулянов сам попросил. «Ты, Крюков, знаешь что? Меня – нарисуй!» А что, кивнул матрос, и вас – нарисую.

Слово сдержал.

В свободную минутку прибежал к нему в каюту командир, и Коля то усадит на стул его, то к столу поставит, то на койку заставит присесть и даже прилечь – а может, полулежа надо портрет-то, в свободной позе, в подушках? Перед глазами мелькала живопись великих, что он видел, наблюдал в Эрмитаже, в Русском музее, в Петергофе. «Александр Семеныч, вы вот так облокотитесь! И не застывайте вы напряженно, расслабьтесь!» Я только с бабой расслабляюсь, ворчал командир, но делал все, что художник прикажет.

Тут Николай – командиром был.

Поменялись роли.

Поза найдена. Рука свободно свисает со стола. Колени чуть подогнуты. Расстегнут бушлат. В другой руке – призмный бинокль, и командир только что отнял его от глаз: всматривался вдаль, но спокойны глаза, нет вражеского корабля на горизонте. Спокойны

воды. Силен и уверен в себе мужчина. Его глаза просвечены холодным солнцем насквозь. Ушанка сдвинута на затылок.

– Коля, я упарюсь в ушанке!

– Ничего, товарищ командир! Пар костей не ломит!

И получился – портрет.

Капитан. Моряк. Мужик. Человек.

На плечах – небо качал. На ногах – качку сносил.

Выносил мир, как ребенка из-под бомбежки, из соленой штормовой боли – на руках.

Прижимался ребенок к бушлату.

Плыла палуба под ногами.

Погляди в бинокль, командир: не идет ли гроза?

Не торпедируют ли нас сейчас?

Через час?

Через минуту?

Коля закончил портрет – Гидулянов большим пальцем по сырому маслу мазнул, палец понюхал, глаза закрыл, взял художника руку – и крепко пожал, и – внезапно – к сердцу прижал.

Коля выдернул руку. Красная краска, крапак красный – лицо, и шея, и подбородок.

– Что вы, товарищ...

– Не стесняйся. Прошу. И я своих чувств не стесняюсь. — Еще сильнее руку Крюкова сжал. — Это память будет мне. И моим... если я...

Не договорил.

И еще крепче сжал Крюкова руку.

И понял Крюков все.

И пожатыем – ответил.

А ночью, когда все уснут, на койках захрапят, открывал Коля обшарпанный чемодан.

Чемодан этот Софья во Владивостоке ему подарила.

Так давно. В другой, сказочной жизни.

До войны.

Подарила и сказала: «Вози всюду с собой. Открой! Погляди, что там!»

Коля открыл – на дне чемодана лежали книги.

Пять книг.

Джек Лондон, «Маленькая хозяйка большого дома». «Идиот» Достоевского. Рассказы Мопассана. «Записки охотника» Ивана Тургенева. И – совсем уж запрещенная книжка: Евангелие. Старое, ветхое, черный кожаный переплет ножами изрезан. Углы страниц обожжены. Будто Евангелие – пытали.

И сказала тогда Софья, улыбаясь печально: «Коленька, ты книжки – всю жизнь – собирай. И этот чемодан твоей походной библиотекой будет. Не расставайся с ним никогда».

Будто себя – вместе с книгами – кружевным носовым платочком – в чемодан положила.

И нынче, чисто вымыв руки от краски и насухо вытерев старой дерюгой, улегся Коля на койку корабельную, к стенке корабля болтами привинченную, и открыл старое истрепанное Евангелие. Божественная книга! Чудо-чудеса! Все тут сказки, все придумки... а красиво все равно...

«Нет, все правда, — гулко, далеко отзвучал странный густой голос внутри. — Не богохульствуй. Правда все. Как правда и то, что ты живешь».

Строчки разбегались, оставляли на белой наволочке горячие, мелкие птичьи следы, глаза слипались. Он пересилил сон, взял над ним верх. Глаза шире раскрыл, чтобы они наполнились слезами и увлажнились. Кулаком потер. Теперь можно читать.

И он прочитал – сначала про себя, потом, для верности, повторил вслух:

– Он-то Идущий за мною, но который стал впереди меня; я недостойн развязать ремень у обуви Его.

Корабль качало на волне. Пьяное море валяло его из ладони в темную, влажную ладонь. Храпели матросы.

Горел под потолком красный ночной свет.

В иллюминаторах плыла дикая медвежья ночь, и звенели рындами звезды, и буянило сердце, хмелело от мысли о женщине, что навеки оставил вдали, о девушке, что верила и ждала.

Открытка, посланная из Сан-Франциско, Соединенные Штаты Америки, в Москву, СССР

На открытке – белокурая и белозубая девушка в полосатом, сильно открытом платье, улыбается, выгнула руку, кокетливо отставила ногу. Надпись по-английски:

HAPPY BIRTHDAY!

На другой стороне открытки – текст письма:

«Здравствуй, моя милая Марэся!

Поздравляю тебя с днем твоего рождения!

Хочу, чтобы открыточка успела вовремя!

Сан-Франциско – прекрасный город, а теперь я хочу увидеть Рио-де-Жанейро, но это в Бразилии! Мы слушаем радио и в курсе, как идут бои. Наши сражаются под Севастополем. Мы душой с черноморскими моряками. Когда придем во Владивосток, я тебе напишу! Целую тебя, моя девочка-ромашка».

Штемпель: SAN FRANCISCO, USA, MAY 15 1942

Эшелон шел и летел, и поднимался над рельсами. За окнами, как умалишенные, неслись, падали в прошлое горы, увалы, степи, распадки, – рыжая и бурая тайга, голые ветви лиственниц, на косогорах – пламя жарков, по всей Сибири обжигающих влажную землю по весне. Эшелон шел по вечной мерзлоте, и земля плакала слезами вдов. Первый год войны. Сколько похоронок? Тысячи? Миллионы?

Николай глядел в окно тамбура. Курил.

После битвы за Москву у него прожелтели до косточек пальцы, а нутро жадно просило спирта – ну хоть рюмашечку, граммулечку. Перед атакой им наливали спирт – кому во что: в каски, в солдатские кружки, в медицинские мензурки, в пустые консервные банки. Кто-то столовую ложку тянул. Кто – бутылку из рук у начхоза выхватывал, губами припадал, а нахала били по локтям, по лопаткам: «Отдай! На нашу долю!»

На их долю много пришлось чистого адского спирта, когда рукопашный – как сквозь пьяную дымку.

И – посмертных, поминальных кружек.

Без спирта он бы не вынес крошева, ада. Стены огня. Земля разлетается в стороны. Крики. Всюду крики. Он зажимает уши, бежит. Прямо перед ним – комиссар. С винтовкой наперевес. Штык – Кольке в грудь направлен.

«Куда?! Стоять! Убью дезертира!»

И Колька поворачивается. И – обреченно бежит в гущу ревушего пламени, мокрой бесстыдной земли, летящей стрелами грязи, комками боли.

А за ним – топот ног, и опять эти дикие, звериные крики, и налегают сзади наши, и фрицы тоже наподдают, штыки торчат оттуда и отсюда, с двух сторон – гуща, лесная чаща штыков, и – вот он, рукопашный бой. Про него Колька в книжках читал. В Марьевке; на сеновале; с фонариком.

Грудь в грудь. Штык вонзается в живого теплого человека. В живое мясо! Они все – мясо! Кровь и мозги, и расплющенная красная плоть! Почему наше знамя цвета крови? Потому что все на свете – кровь! Лишь она одна.

Качается вагон. Летит поезд – разогнался состав, старается машинист, кочегар подвливает уголь в топку. Уголь в паровозной топке; уголь – в корабельной. Уголь, его же в Донбассе шахтеры рвут когтями из-под земли. Земля не отдает человеку свои драгоценности: он сам берет. Плата – жизнь. Взрывы газа. Пары метана ударяют в голову, в грудь. Смертельная горилка. Как ты там, отец Иван Иванович? Как ты, Матвей Филиппыч, петух рябой? Живы ли? Спускаетесь ли с фонарями в забой?

За что человек человеку платит кровью?

За мир – платит войной?

Дорогая, последняя плата.

Летит эшелон. Летит мимо, прочь Сибирь. Гудит под колесами Транссибирская магистраль. Они оттолкнули врага от Москвы, и их возвращают на тихоокеанские миноносцы. Крюкова ждут на «Точном»? Да. Его одного.

Все, весь его третий курс, все друзья-курсанты – там, под Москвой, в снежных декабрьских, январских полях остались. Кого смогли похоронить, в братских страшных могилах. Кого – так оставили дотлевать, гнить: под солнцем и ветрами. Пища для хищных птиц – мертвое человеческое мясо. Мясо.

«Мы – не мясо! Мы большее, лучшее! Мы – дух!»

Где он, этот дух, у тебя, покажи-ка на себе, Колька.

Еще одну «беломорину» в зубы всунул. В тамбуре уже хоть топор вешай, так надымил. Железная дверь загрохотала, рядом с Крюковым встал коренастый парень, добыл из кармана гимнастерки кисет с махрой. Дым пах остро, перцем, головешками, кизяком. Так смолили оба, в зарешеченное окно глядели.

– Как думаешь, — первым подал голос Николай, — далеко еще до Хабаровска?

– Завтра утром, сказали, Хабаровск.

Парень глубоко затянулся. «Козью ногу» держал двумя пальцами, большим и указательным, на отлете, будто брезговал. Артист.

– Утром-то утром. Скорей бы Владик.

– Да. Скорей бы. Да паровоз шибчей бежать не заставишь.

Докурили. Друг на друга поглядели.

– Из-под Москвы?

– По мне видать?

– И я из-под Москвы. У тебя как?

Крюков провел ладонью по голой голове. Бескозырка в вещмешке упрятана.

– Из трехсот нас – один я.

– Ясно. У нас четыреста было. Пятеро – осталось. А ты как спасся? Гляжу, и не особо изранен.

Николай пожал плечами. Потом расстегнул гимнастерку медленно; не торопясь, приподнял тельняшку. Парень глядел на живот, на грудь в кривых шрамах и швах. Наспех зашивал военфельдшер. Без обезболивающего. Николаю, чтоб не орал, в зубы – палку всовывали. Грязную деревяшку.

Раны его спасли. Лазарет, тыл. А там приказ пришел: возвращать на флот выживших моряков.

Парень тоже вверх выгоревшую гимнастерку потянул.

Так стояли друг перед другом – с голыми изрезанными животами. Смеялись.

Потом аккуратно, деловито гимнастерки под ремни заправили.

– Ты куда во Владике?

– На «Твердый». А ты?

– На «Точный».

– Точный ты, я погляжу.

Хохотали.

Вместе курили.

Вместе на рыжий весенний огонь дальневосточных жарков – в окно тамбура – глядели.

На встающее из-за распадков бешеное солнце. Лучи раскидывало, длинные желтые руки. Било золотыми пальцами в доски эшелона, в грязные стекла: эй, состав, не мчись так пьяно, постой, остановись! Не вези морячков на войну! Пусть на мир поглядят, в мире поживут. Хоть немного. На красивых сибирячек на полустанках полюбуются. Эх, какие платки у них с кистями! В туесах – клюкву мороженую продают! И кедровые орехи: грызи хоть всю жизнь, веселись-плюйся – а один туес не сгрызешь!

Палуба корабля. Она опять под ногами.

И снова можно ходить, ощущая подошвами, как корабль качает на волнах: сквозь все железо корабля – ногами – море чуют.

«Точный» — военный корабль, миноносец, да; и вместо капитана у него сейчас – командир, и это все тот же Александр Семеныч Гидулянов, замечательный моряк. С «Дежнева» – да на «Точный» прыгнул! Вот судьба! Когда он в добром настроении – ласково, как сибирский кот, жмурится и говорит Крюкову: «Помнишь, как я в кают-компании на „Дежнев“ на скрипочке вжаривал?»

Помню, кивал Коля, а где ж сейчас ваша скрипочка, товарищ командир?

Опускал командир голову.

«Не до скрипочек теперь».

Крюков представлял себе командира Гидулянова – на селе, в корчме, с крохотной скрипочкой у подбородка. Глаза закрыты блаженно, смычок елзлит вниз-вверх. Развеселая мелодия скачет тоже вверх, выше, еще выше! Забирается белкой на сосну. Пляшут под скрипку Сашки Гидулянова пары. Разлетаются девичьи юбки! Парни идут вприсядку. Смычок вот-вот бедную скрипку надвое перепилит!

«Да, Коляша, времечко было... где сейчас это все...»

«Когда война закончится – я в художники пойду», — говорит матрос командиру.

«В художники все ж таки, м-м? — Брови вверх лезут. — А я уж думал – ты забыл баловство! Значит, нравится малевать?»

«Очень, товарищ командир».

«И какую картину мечтаешь нарисовать? Большую? Во всю стену? Корабли? Океан?»

Крюков потупился. «Виноват, товарищ командир. Наш корабль на фоне моря. Ну, наш „Дежнев“. По „Дежневу“ – скучаю».

«Я тоже скучаю. Я на „Дежнев“ опять попрошусь. А ты — рисуй. Я тебе и здесь распоряжусь краски малярные выдавать. Государственное добро не зря переводишь! Талант ты и есть талант. А может, мы твои картины когда в Эрмитаже увидим!»

Не в Эрмитаже, тихо поправил Крюков, в Русском музее. В Эрмитаже только полотна западных мастеров хранятся. «Виноват, товарищ командир!»

Кругом ты, Крюков, виноват. Репин, ишь, нашелся. Художник от слова «худо»! Иди! Рисуй!

Япония медлила вступить в войну. Хотя Гитлер хотел Японии под Москвой фокус показать, соблазн подложить: мол, мы уже в двадцати километрах от советской столицы, и наши фотокорреспонденты снимают, как мы – Третий Рейх – Москву – бомбим!

Где фрицы? Откатились. Что Япония? Размышляет.

Рядом Япония. Море пересечь – и Фудзияма.

И нырятьщницы ама добывают со дна моря раковины, и в них – жемчуг.

Война идет, а женщинам надо наряжаться.

И глупые, сумасшедшие мужчины покупают им жемчуг и золото, духи и пудру.

Моряки думали – они пойдут конвоировать караваны с оружием, с танками и провизией, одеждой и обувью для Красной Армии, а их – внезапно – приказом по Тихоокеанскому флоту – в учебный поход отправили! Да еще куда: в Сан-Франциско!

– А где это, Сан этот Франциско? — спросил Колькин дружок Веня Добротвор. — В Южной, што ль, Америке? Испанское вроде название.

– Дуракам закон не писан. — Крюков снисходительно похлопал матроса Добротвора по плечу. — Географию слабо ты в училище учил. СэШэА! Западное побережье.

– А Испания-то тут при чем? — не сдавался Добротвор.

Синие громадные валы легко перекатывали «Точный» с гребня на гребень. Ветер ерошил отросшие волосы матросов. Трепал воротники, как флаги.

– А при том! Западные штаты раньше под испанским владычеством были!

– А Аляска што, под русским?!

– Садись, пять! Под русским! Ее царь Александр Второй по глупости – американцам – продал!

Путь. Опять путь.

Все в жизни есть путь-дорога.

То маленькая – от дома к дому; то огромная – от страны к стране.

Кровавая – от войны к войне.

Длиннее всех, опасней – дорога океанская; шторм налетит – волны корабль запросто сомнут, перевернут, и будешь тонуть, ловить последние жадные мысли, что пузырьками воздуха летят, спешат на поверхность. Попадешь в око тайфуна – не выберешься, прости-прощай, жизнь. Корабль – плавучий дом, но он не навеки дан тебе.

А тело? Оно тоже – ходячий дом, бродячий?

Да. Ты идешь – и дом твой идет вместе с тобой.

Ты думаешь – переставляешь ноги, а на деле ты переставляешь время внутри себя.

Путь, синий, прошитый искрами золотыми, опанхнутый крыльями чаек, пронизанный лучами солнечных рыб. Путь глубоководный, ширь неоглядная – глаз не хватит обнять океан, зато душа обнимает. И любит. Как он любит море! Оно разное. Злое и нежное. Ну да, ведь вода – женщина.

И когда берег? Когда?

Собирались вечерами в кают-компании. Слушали радио, головы склонив. «Наши войска с боями заняли...» Срывались со стульев, горланили: «Ура-а-а-а!» От крика – лампочка гасла. Командир вставал, аплодировал вместе со всеми.

Грозно рычали мичманы: а мы-то, мы-то в бой когда?! Учебный поход черт-те куда! Мы бы на Балтике, на Баренцевом – сейчас были нужнее!

Гидулянов склонял голову к подбородку, становился похож на грустного коня с привязанной к морде торбой.

– Погодите, ребята. Не шумите. Пока такая у нас лочия. Отрабатывайте приемы.

И они – отработывали.

Они уже давно знали все: и как расчехлить орудие, и как зарядить пушку, и как привести в боевую готовность торпеды, и как распределить – по ходу кораблей противника – опасные рогатые мины.

Они были готовы к морской войне.

Они хотели воевать.

Умереть? Если надо, то и умереть.

Они не понимали: смерть – это навсегда.

То, что смерть – навсегда, знали те, кто вернулся с зимних полей под Москвой.

Но они молчали.

Ничего товарищам не говорили про это.

Разве про это расскажешь?

Колька, синими теплыми вечерами, выходил на палубу, глядел на хищные цветные звезды, пьющие соленую воду, как безумные чайки. Садился на доски палубы, обхватывал руками колени. Мысли убегали вдаль. Волны выматывали душу. Закрывал глаза. Перед глазами вставал безымянный солдат с отпиленной ногой. Вместе лежали под ножом в операционной – в занавешенной белыми простынями землянке. Солдат так кричал – Колька чуть не оглох. Крик парализовал хирурга. С поднятыми вверх, будто он врагу в плен сдавался, руками, очкастый хирург чеканил сестрам: хлороформ, быстрее, маску! Когда ногу отпилили, маску сняли – будить солдата уже не понадобилось. Он умер от болевого шока.

Чужие берега, они идут к чужим берегам. Он впервые увидит Америку. Ее открыл Колумб. Сейчас он, Ник Крюков, талант, откроет ее! Еще как откроет! Как ножом – консервную банку! Заграничную тушенку!

Земля восстала из синей блестящей глади, из слезных миражей штиля внезапно и мощно.

Огромные каменные стрелы диковинных домов уходили прямо в небо. Не дома – ракеты. Вот-вот с земли сорвутся, взмоют. Приближались к берегу, и чаек становилось все больше – изобильно, клекоча, захлебываясь истеричным писком, они летали над морем, над кораблями, и кораблей, что тебе чаек, тут все прибывало, они толпились, сбивались в стаи, ветер сгребал их в кучи и снова разбрасывал по синей влажной пашне океана – белые лайнеры, серые катерки, стальные громады линкоров и эсминцев, лодки и лодчонки – все теснились, окружали «Точный», нагло плыли наперерез и в последний момент ухитрялись вымахнуть из-под форштевня, улизнуть, растаять в синеве.

Вахтенный матрос крикнул с мостика:

– Земля! Сан-Франциско!

Моряки стояли на палубе, глядели на диковинную чужую страну. Город показывал им каменные пальцы.

– Америка, — сказал Крюков и положил руку на плечо матроса Добротвора. — Ну, видишь? Америка настоящая!

– Вижу! — кивнул Добротвор. Восторгом полыхали его глаза. — И точно, настоящая!

«Точный» бросил якорь неподалеку от портовой гавани. К берегу пока не подошел: разрешения не получил, и негде было пришвартоваться. Все причалы заняты.

– Столпотворение, — бросил командир Гидулянов, раскуривая трубку, и Коля подумал: «А ведь Семеныч трубку-то курит, как – Сталин». — Куда ж приткнуться? Некуда!

– А как же мы на берег? Я на берег хочу! — возмущенно выкрикнул Добротвор.

– Будет, будет берег вам, — миролюбиво, сквозь трубки дым, вымолвил командир. — Будет тебе белка, будет и свистелка.

Они все-таки сошли на берег.

Сан-Франциско задавил их, ослепил, оглушил. Они знать не знали таких городов: россыпи реклам, горящие огнями буквы, знаки, надписи – словно яркая кровь выплеснута наружу городских стен. Расплавленная оранжевая, алая, зеленая электрическая лава льется с высоких этажей. Здания – каменные кукурузные початки: каждое зернышко – судьба, с каждого балкона свисает, вьется на ветру звездно-полосатый нарядный флаг. Пляжи! Пирсы! Корабли со всего света! И музыка, музыка из окон домов, из дверей ресторанов. Рестораций здесь в изобилии – заходи не хочу, жри от пуза, коли деньги есть! Доллары.

Долларов у них не было, были советские рубли и еще мелочь, и в банке Николаю обменяли рубли на чужую валюту, он гордо, зеленым веером, развернул перед товарищами американские купюры: глядите, мы теперь можем здесь все купить! Выпить-закусить!

Все, да не все. Оказалось – долларов слишком мало, чтобы пообедать в ресторане; зато хватит, чтобы каждому на почте купить по открыточке и послать ее в СССР матери, сестре, любимой. Жене? Жен у них ни у кого не было. Они все были еще очень молодые. Курсанты. Третий курс.

И еще год учебы им оставался. А они уже – иные – войну понюхали.

– Ребята! — Крюков сдвинул бескозырку на затылок. — А вот она и почта!

– А ты по-английски умеешь? — спросил дотошный Добротвор.

– Умею, — ответил Коля. — А ты?

– Я это, в училище немецкий учил, — недовольно признался Добротвор.

– Ну и сиди со своим немецким.

Гурьбою в зал почтамта вошли. Крюков широко, вразвалочку, подошел к стеклянному окну. Сунул в дырку золотую голову.

– I am very glad to see you, — вежливо сказал. — Ten postcards, please!

Моряки смотрели на Крюкова как на диво дивное.

– Говорящий попугай, — пожал плечами Веня Добротвор.

Худенький был парень Добротвор, очень интеллигентного, утонченного вида. Как на флот попал такой нежный? Врачи не комиссовали доходягу, в справке военкомата написали: «Практически здоров». А чахоточным гляделся.

Николай взял сдачу, церемонно поклонился белокурой улыбчивой девушке в окошечке.

– Thank you. — Пошел. Вернулся. Улыбнулся. — Very much.

На одной открытке – обезьянка с воздушным ярко-красным шариком; на другой – веселая девушка в полосатом, как пижама, платье. Пышногрудая! Кудри вьются!

Крюков разложил открытки на почтовом столике. Окунул перо в чернильницу. Задумался.

Одна открытка – Софье; другая – Маргарите.

Софья – любовница. Маргарита – мечта.

«У мужчины должна быть и любовница, и мечта».

Перо уже царапало по иностранной, гладкой как зеркало бумаге, буквы вытекали коричневой кровью.

«Милая, милая Софья! Я в Сан-Франциско. „Точный“ приведен в полную боевую готовность, но в Тихом пока боевых действий нет. И мы наслаждаемся морем и солнцем. Америка красивая! Очень большие дома. Но Владик лучше! Ты там смотри не озоруй без меня. Я скоро вернусь. Сонечку хорошо корми, чтобы не отоцала».

Подумал и приписал – мелкими, блошиными буквами:

«Люблю. Твой Ник».

Матросы опустили открытки родным и близким в огромный ящик, на нем золотом написано: «POST».

Лети, письмо, с приветом! Ответа моряки не ждут. По морям, по волнам, нынче здесь, завтра там!

Бормотанье, свист радио. Команды Гидулянова. Вкусные запахи борщей и каш на камбузе. Вечера в кают-компании. Кто воевал – молчал; кто не видал войны – смеялся, байки травил, песни пел. Добротвор щипал струны гитары. Потом – гитару Крюкову передавал.

И Коля Крюков пел.

Как пел! Моряки слушали, замолкали.

*— Всегда и везде за тобою,
Как призрак, я тихо брожу...
И в милые очи порою
Я с тайною думой гляжу.
Полны они неги и страсти!
Они так призывно глядя-ат...
И столько любви, столько счастья...
Они нам... порою!.. сулят...*

Каждый думал о своей девушке.

Даже те, у кого девушки – не было.

Сколько времени протекло, пролетело?

Столько, сколько океанских вод промчалось под форштевнем.

Месяц, два, три – на море все дни сливаются в один, густо-синий, тошнотный, где качка и качка, где ветер и ветер, где ты знаешь – идет война, но тебе, лишь тебе она на минуту приснилась, а есть только солнце, и ветер, и волны.

«Точный» встал в порту Владивостока. Жаркое солнце пылало в зените. Крюков еле дождался увольнительной.

Шептал про себя: «Софья, Софья, я скоро, я сейчас». Сердце стискивали жесткие ладони беспричинной тревоги.

Капитан Гидулянов отпустил его на сутки. Сутки равны вечности. Ты только шагу прибавь. Не опоздай.

Бежал по городу, ветер пытался остановить его влажной пружинистой рукою. Хватал воздух ртом. Бескозырку ветер сорвал, он припустил за ней, ловил на тротуаре, прохожие смеялись.

Когда к дому Софьиному подбежал – ногой о штанину зацепился, чуть не упал. Носом вперед полетел. Удержался на ногах.

Дед старый, с авоськой картошки в корявых руках, так и ахнул:

– Эх ты, как морячок налился-то! Так набок и валится, сердешный!

Лестница. Вверх. Преодолеть. Вознестись.

Звонить, звонить, звонить.

Налегал на звонок не пальцем – телом всем.

Зубы чечетку выбивали.

Дверь напротив распахнулась. Сонная, в папильотках, выглянула рыжая крашенная дама с тремя подбородками.

– Что трезвон подняли? Нету ее. Нету.

– Где она?! — выкрикнул Крюков.

Сердце колотилось кузнечным молотом. Вот-вот выбьет ребра.

– Где, где... — Маленькие, близко посаженные ежиные глазки стрельнули туда, сюда.

Дама поправила рыжий локон, крепче завязала папильотку на лбу. — Нигде. Арестовали ее.

– Когда?

– Вчера.

Он вышел на улицу. Солнце скатывалось в жаркое марево. Океан ворочался рядом, за домами, громадный синий зверь.

Пройти за дома, скрыться в дальних, незнакомых дворах. Белье сушится на веревках. Веревки протянуты через всю судьбу. Через жизнь. Цветное, белое и черное белье. Черные трусы, белые простыни. Белые спортивные майки. Веревки снега и ветров. Чем повязаны жизни? Пальцы сплетаются. Клятвы даются. Все это чепуха, ерунда. Нет ничего важнее минут вместе. Остальное – сказка, марь, морок.

Он нагнулся, проскользнул под мокрыми простынями, вышел с испода мира в полную, неправдоподобную тишину. Сел на грудку битого кирпича. Стройка. Или – разруха? Возводят – или сломали? Он не виноват, что он моряк. У нее муж тоже был моряк.

По красному кирпичу ползла маленькая черная ящерка. Грелась на солнце. Николай смотрел на изящную спинку, на ходуном ходящий хвостик. «Греется, животинка. Солнце вбирает. Все любят тепло. Ласку. Все любят – любовь. Кого теперь буду любить я?»

Пытался представить, как все было.

В нее – в ее последний день на воле – переселялся.

Все так просто. Ночь. Стук в дверь. Резкий, громкий, короткий. На такой стук, даже если очень крепко спишь, сразу вскакиваешь. Софья вскочила, босиком к двери подбежала. Обезьянка проснулась, смешно, как утенок, закрывала, загукала.

Дверь под пальцами. Дверь под ладонями. Черная кожа. Металл замка.

Сейчас надо открыть. Ты же знаешь, кому ты откроешь.

Это произошло и с тобой.

А ты думала – этого с тобой не будет никогда.

– Кто там?

Все же она спросила это.

– Открывай! Обыск.

Лязгая замком, подумала быстро и туманно: «На „ты“ обращаются. Это плохо».

Вошли, отеснив ее плечом, наглые, с запахом бани, в фуражках, в перчатках. Ледяно окинули ее взглядом. Софья стояла в ночной рубаше в пол, с густым кружевным воротом, и шея торчала, будто из лепестков огромного цветка – тощий пестик.

– Антонова Софья Николаевна?

Кивнула. Внезапно во рту пересохло.

Обезьянка в кровати шевелилась, похныкивала.

– Ты арестована как враг народа. — Чекист кивнул двум «синим околышам», ждавшим распоряжений. — Обыскивайте! Если найдете что важное – приставлю к награде!

Софья протянула вперед руки. Рукава сорочки заскользили к плечам, обнажив смуглые руки. Чекист плотоядно глядел на грудь под рубашкой, на босые ноги женщины.

– Но у меня... нет ничего! Вы... ошиблись!

– Как же ошиблись, когда ты жена английского шпиона?!

– Я? – Обезьянка выскочила из кровати, подбежала к ней, Софья подхватила ее на руки. — Это нелепость! Я никогда... Я развелась с мужем!

– Это ты расскажи сказки кому другому! Мужа твоего арестовали и судили! И – расстреляли! Он во всем признался! И ты тоже, — усмехнулся углом рта, — расколешься! Ишь, барыня!

Жадно оглядел обстановку, мебель, примеряясь, уже — присваивая. Старшина внутренней охраны и младший лейтенант уже вываливали из шкафов белье, выдергивали ящики, копошились в книгах, переворачивали вверх дном чайники, рюмки, хрустальные вазы. Фарфоровую китайскую девочку, несущую на плечах корзинку, слишком близко поставили к краю стола, и она упала, разлетелась на осколки, похожие на крошечные океанские ракушки. Софья стояла, дрожала. Пыталась не подать виду, что – испугалась. «Губы, не дрожите! Не прыгайте! Я не боюсь!»

Она – боялась.

И обезьянка – боялась.

Сердечко зверька чувало все лучше и горше, чем человечесь.

Чувало – гибель.

– Тихо, Сонечка, тихо...

Обезьянка тихо застонала, потом заверещала громче, пронзительней.

– Что за чучело? — Главный чекист закурил, пускал дым Софье в нос. — Обезьяна? Выкинь ее на балкон. Кому говорю? Не слышишь?!

– Говорите мне «вы».

Софья выпрямила спину. Крепче прижала к себе Сонечку.

– Ишь! Чего захотела! По тебе пуля плачет, а хочешь, чтобы тебе выкали!

Старшина выпрямился. В руках он держал открытку.

Глаза торжеством горели.

– Вот, товарищ старший лейтенант! Поглядите! Нашел! Вражеская открытка! Штемпель заграничный! Шпионская! Из... сейчас скажу, откуда... Товарищ Нефедов, поднеси-ка свет!

Младший лейтенант выдернул из кармана фонарик, направил луч на квадрат бумаги.

Старшина по слогам читал:

– Мила-я Со-фья... я... в Сан... Фран-цис-ко! А! Сан-Франциско! Где это, товарищ старший...

– У тебя что по географии было, Дементьев? Америка это! Северная! Ну, США!

– А! Сэшэ! Точно!

– Ты, – чекист повернулся к Софье, — говори, кто прислал!

Софья глядела на жирное, гладко выбритое лицо, на круглые очки, сползшие на кончик скользкого блестящего носа, на оттопыренные под фуражкой уши. Перевела взгляд на навак-сенные сапоги, из-под шинели торчащие кусками, сколами черного угля.

Улыбка, легче прозрачной слюдяной, сетчатой стрекозы, слетела на ее прозрачные, белые от страха губы.

– Любимый человек.

– Ах! Вон что! Любимый! — Глядела на зубы чекиста, обнаженные в обидном, зычном смехе, на золотые и серебряные коронки. — При живом-то муже!

– При мертвом, — мертво поправила чекиста Софья.

Он замахнулся: ударить хотел.

Сдержался. Руку в перчатке опустил.

– Говори, кто открытку послал!

Старшина бережно прятал открытку в папку, папку – в черный портфель.

Защелкнул замки.

Младший лейтенант наступил сапогом на осколки фарфора.

Под сапогом – хруст.

«Вот так и моя жизнь хрустнет. И никто не услышит последнего моего хруста. Визга. Крика. Стона. Никто».

– Я же сказала.

И тогда чекист занес руку быстро и бесповоротно.

Не выдержал.

Удар пришелся по челюсти. Софья качнулась. Устояла. Обезьянка обвила ручонками ее шею. Из рта Софьи лилась кровь – на подбородок, на кружевной ворот сорочки, стекала по смуглой шее на грудь. Она утерла кровь кулаком.

– Фамилии не слышу!

Выругался. Вынул платок из кармана шинели и брезгливо вытер перчатку.

– Нефедов! Еще посвети!

Портфель разzyавлен. Тесемки папки развязаны. Круг фонарного света бродит, ищет, нашаривает истину. «Твой Ник» – разве это правда? Это подложное имя. Это – псевдоним! Шпионская кличка! Ты! Говори!

– Я еще не арестована, — тихо говорит Софья. — И это не допрос.

Старшина трясет перед ней бумагой:

– Вот ордер на арест!

– Настоящее имя шпиона! — орет чекист.

Он уже не владеет собой. Он слишком нервный. Кулак опять взлетает. И когда опускается – Софья, вместе с вцепившейся в нее обезьянкой, летит пушинкой в угол, падает, выставляя локоть, больно ударяется о паркет. Она расшиблась. Чудом сознание не потеряла. Она понимает: это только начало.

Срываются с жирного носа и отлетают, и разбиваются круглые очки.

Ругань взвывается уже откровенная, грязная.

Плачет, хнычет, скулит обезьянка.

– Сонечка... тише...

– Выкиньте уже к чертовой матери обезьяну!

И, когда рука в грубой толстой, из свиной кожи, черной перчатке больно хватает обезьянку за загривок и несет к балкону, и зверек понимает – сейчас он полетит вниз, с большой высоты, а внизу будет земля, и тьма, и ночь, и смерть, — Софья, скрючившись, лежа в углу, смутно думая: переломаны кости, ребра, — ясно, отчетливо говорит в развороченную, вскрытую, разбитую квартиру, в расколотую жизнь, во взрезанную, как наволочка, любовь:

– Я вам никогда и ничего не скажу. Будьте вы прокляты.

Открытая дверь балкона. Звон стекла. Стекло разбито сапогом. Со зла, в сердцах. Рука в перчатке в ночь швыряет живое существо – комок боли, ужаса и визга, лапки и когти хватаются за рукав шинели, пуговицы глаз намертво пришиты к серой шерсти лица. Рука размахивается и бросает маленькую жизнь вниз, как камень.

И, пока обезьянка летит вниз, она кричит.

И вместе с ней кричит Софья.

И к ней, лежащей на паркете в крови, подходят черные, смазанные щедро ваксой сапоги, и поднимается сапог, и прямо, точно попадает меж ребер, а потом по животу, и еще раз, и еще раз.

В полном молчании чекист бьет Софью, и лежит на полу, и молчит она.

– Крепкая, — зло выдыхает, как после стакана водки, чекист, отходя. — Ну ничего! Там из тебя героизм выбьют! И правду выбьют тоже! погоди!

Софья лежит. Софья молчит. Софью поднимают. Софью одевают: плащ, шляпка. Софью костерят, как последнюю портовую шлюху. Софью толкают в плечо, в спину: иди! Шевели ногами!

Ноги. Босые ноги.

Она идет в тюрьму, в лагерь, на смерть – босиком.

– Товарищ старший лейтенант! Арестованная – босиком!

– Босиком? Отлично! Не зима сейчас!

«Они со мной – хуже, чем с врагом. С пленными немцами лучше обращаются».

– Что встала, курица?! Мы тебя тут обувать не будем! Золушка, курва! Хрустальная туфелька!

Лестница под босыми ногами. Лестница. Ступени вниз. Вниз. Все вниз и вниз.

«Ты последний раз идешь по этой лестнице. Запоминай».

Я последний раз иду по этой лестнице, Коля.

Коля! Милый мой! Ник! Матросик мой нежный! Счастливый! Я так люблю тебя, Коля! Я так любила тебя! Я тебя никогда не забуду. Они будут бить меня – а я буду думать о тебе. О тебе! О тебе! Я обнимаю твою голову светлую. Целую тебя в глаза твои ясные, серые, чудные. Я запах твой люблю. Нюхать тебя так люблю. Любила. Ты весь такой чистый! Душистый! У тебя и пот пахнет цветами. Ты весь мой! Ты мое счастье! Первое и последнее. Меня избьют... убьют. Я знаю. Это война. Всегда война! Мы все всегда на войне. Но ты мой мир. Когда меня убьют, ты и там будешь со мной. Я знаю. Обними меня! Поцелуй меня!

Ее заталкивали в черный «воронок», а она повторяла горячими, невесомыми, летящими губами:

– Поцелуй меня.

Николай плакал, сидя на груди битого красного кирпича, обхватив голову руками, плакал посреди вечера, посреди приморской теплой ночи, и белье билось на ветру морскими яркими флагами, и красными флагами праздников, и белыми флагами, когда сдаются в позорный плен, и черными флагами, накинутыми на зеркала в доме покойника, и губы его шевелились, он слышал, что Софья ему нашептала, и он повторял ей – через земли, крыши, думы, крики, звон часов, хрипы радио, хрипы пытаемых и казнимых:

– Поцелуй меня. Ну пожалуйста, ну Софья, ну я прошу тебя. Поцелуй меня. Крепко обними. Я с тобой. Ты не бойся. Только ничего не бойся. Я с тобой.

Рыдал, не стесняясь звезд и луны.

Глухо гудел океан за плечами, над затылком

И девочка Маргарита белым ангелом встала, качаясь в ночи, рядом с ним.

И нежно сказала, глядя его облачной рукой по голове, утешая:

– Она с тобой, Коля. И я – с тобой.

палуба СКР-19

август 1942 г.

порт Диксон

неравный бой с немецко-фашистским крейсером «Адмирал Шеер»

Транкова убили

лейтенант Кротов ранен

— Ты куда бежишь, парень?

– Посыльный из штаба морских операций!

– Проводить тебя к помощнику командира?

– Так точно!

Крюков хотел, не по уставу, хлопнуть паренька по плечу. Юный совсем.

Шел впереди, юнга сзади, вытягивая шею, чтобы стать выше.

Все равно рядом с высоченным, длинным Крюковым – шавочкой семенил.

Ночь. Холодное море перекачивает серые валы. Светлая северная ночь обволакивает лица призрачным светом: свечение сердца, свет мелких, далеких и льдистых, звезд в зените. «Посмертные звезды у нас у всех будут красные». Николай шел, широко расставляя ноги. Брючины хлопали на ветру.

Холод, и льды, и жизнь.

Пока еще жизнь.

Разве кто поверит в смерть, пока молодой?

Постучал в каюту. Вошли оба.

Командир, Александр Гидулянов, на катере портовом ушел на мыс Кретчатик – разузнать, где на берег удобнее всего орудия выгрузить. Старший лейтенант Кротов на корабле остался за него.

Кротов сидел за столом, одетый в бушлат. Воротник бушлата поднят до ушей: греется, дышит в воротник, мерзнет. Быстро, бисерно писал. «Письмо», – догадался Крюков. Кротов стыдливо, сердито прикрыл письмо раскрытой книгой, бросил ручку, и со стального пера стекла чернильная капля.

– Разрешите доложить! — Крюков выпятил грудь.

– Донесение! — протянул бумагу юнга.

Кротов не прочитал донесение – проглотил. Мгновенно побелел. Николай все понял сразу.

«Это бой, и немец опасен».

– Донесение принято, юнга! Можете идти.

Махнул рукой.

Юнга убежал: его ждал береговой катер.

– Матрос-рулевой, со мной!

Оба быстро поднялись на мостик. Кротов задыхался. На мостике нес вахту лейтенант Степин. Помощник командира тоскливо поглядел на холодные, тусклые звезды. Лило прогорклое, кислое молоко белое, прозрачное небо. Николай впервые в жизни слышал эти слова. Мокрой плетью, больно и яростно, они хлестнули по груди, по спине. По обветренному ледяными ветрами лицу.

– Боевая тревога!

Стальной голос. Стальные борта. Стальные орудия.

И их всеобщий, Главный Командир – товарищ Сталин: сталь, крепкой выплавки сталь.

А ты, Крюков, не из стали разве сделан?

«Слишком я живой. И не хочу умирать».

Прищур Кротова вонзился в глаза рулевого матроса.

– Что, сдрейфил?!

– Да я, Сергей Александрыч... никак нет!

– Какой я тебе...

Хотел обругать матроса: что себе позволяет, имена-отчества?

На весь ледокол – громкий бой колоколов. Бьют, орут, вопят рынды.

Колокола тревоги.

Колокола смерти.

Крюков сглотнул. Охрип внезапно, как при дифтерите.

Кротов руку протянул. Плеча матроса коснулся.

– Сынок...

Некогда размышлять. Нечего думать и чувствовать.

Время закончилось. Оборвалось быстро и разом.

Люди черными тараканами высыпали на палубы; люди черными кошками шныряли, ползли, тащили – надо было проверить орудия, притащить ящики со снарядами, выверить расстояние до вражеского крейсера.

В синей, сизой дымке, казалось, очень далеко, а на самом деле близко, — а может быть, страшно близко, а на самом деле далеко, — в легчайшей взвеси полярной ночи плыл – стоял – висел – корабль.

Даже издавлека устрашал. Огромный, железный зверь, мачта торчит, достигая верхушкой звезд; сквозь туман смутно различимы орудия, скошенная труба.

«Мы с ним будем бороться. Все просто. Он будет в нас стрелять. И мы в него. И – кто кого».

Николай оглядел палубу. Маленький ледокол, могучий крейсер. Битва бегемота и божьей коровки.

«Давайте уйдем!» — рвался крик из груди.

Да ведь и не ушли бы далеко. Сколько узлов в час делает СКР-19? А сколько – эта громадина?

– Корабль к походу!

– Стрелы завалить! Трюмы закрыть!

– «Шеер», — негромко говорит лейтенант Степин, всматриваясь в сизую, голубиную даль.

Люди носились, метались, расчехляли орудия, мелькали руки, глаза, лица, бушлаты. Люди готовились. Люди боялись. Люди делали вид, что не боятся ничуть: кто пел песенку, кто закурил на ходу, и руки работали, а папироса в углу рта торчала, и ветер пепел в море с палубы сдувал. Люди старались двигаться спокойно, расчетливо и уверенно, но сбивались на дерг, на взмах, на резкий крик. Многие примут бой впервые. Крюков глядел на лица молодых матросов. Белые как снег. Улыбки вымученные. Смерть чувят. «А я разве старик?»

– Крюков!

– Так точно!

– Дублируешь старшину-рулевого Транкова!

– Есть!

– Отдать швартовы!

Лейтенант Степин отнимает от глаз бинокль. Хороший призмальный бинокль, цейсовский. Немецкий. Ах ты, фрицевский, в бога-душу-мать.

И за борт не выбросишь фашистскую поделку. Техника у гадов мировая.

Тишина. Белесое, молочное небо. Звезды вспыхивают и гаснут.

«Боже, я верю в тебя. Боже, не погаси мою звезду».

И торкнулось под сердце: «Марэя...»

Девочка-ромашка. Девочка-незабудка. Я не забуду тебя. Я... вернусь к тебе.

«Мертвым, в гробу, а вернусь».

— Направление на цель... Дистанция...

Пока артиллеристы не открывают огня.

Крюков шагнул к Кротову.

– Разрешите...

– Разрешаю. Все, — полоснул узким прищуром, — разрешаю.

– К орудию меня поставьте!

– Крюков, ты матрос-рулевой, и ты заменишь Сашу Транкова, если...

Николай сжал кулаки. Будто ударить кого готовился.

– Хорошо! Будь по-твоему.

Кладать перестали замки орудий. Тишина. Она обваливалась с небес, она сама была – небом.

На земле, в мире, во всей Арктике есть только небо. Белый, высокий ночной храм неба. Белые, медленные, как тюлени, льды. Серые жесткие, железные скалы. Бога нет – медведю белому молись. Когда встанет солнце, и пойдет широко, вольно и безбрежно по небу, очерчивая мощный земной круг, холодный синий окоем, Север улыбнется, оскалится льдами, скалами, снегами. Плеснет ледяными слезами из-под борта – в лицо. А когда солнце царственно завершит небесный путь – начнет валиться за горизонт, но не сможет упасть, и польется на скалы, из-под черных плотных слоистых туч, алая угрюмая кровь – так восстанет закат, испугает до полусмерти нежные души суровых людей и отразится в красных бесстрастных глазах веселых белых медведей.

Тишина. Сейчас – тишина. Она слишком тяжелая, тишина.

Ее невозможно вынести.

И однако все они ее – выносят.

На своих плечах – выносят.

На спинах. На загорбках. На руках.

«Пока еще не пролилась кровь. Еще не наступил закат».

Да ведь и рассвет еще не наступил.

– Прицел... Поставить трубку на удар... Орудия – зарядить!

«Дежнев» шел и шел прочь от причала. Порт таял в тумане, в разводах белого молока. Волны хлюпали о черные борта. Ручки машинного телеграфа переведены с малого хода на полный. Саша Транков, полный вперед! Курс на выход из гавани.

Навстречу бою. Навстречу – огню.

Крюков положил руки на рукоятки крупнокалиберного пулемета. Мостик качается под ногами, дрожит.

Полный ход. Полный ход времени; минут; секунд; жизни.

Он облизнул губы, крепче вцепился в рукоятки и подумал: так ярко, так ясно и красиво я еще никогда не видел ничего. Я мир не видел! «Так полно, так... рьяно, страстно... я никогда еще не жил».

Значит, жизнь в виду смерти – самая яркая?

Не додумал. Вражеский корабль приближался. Что будет делать «Дежнев», ведь его расстреляют в пух! Кротов сказал, он слышал: «Ляжем на дно, перегордим пролив, аккуратно между Пирожком и Вегой, фарватер перекроем, в бухту не войдут, на Диксон все равно не попадут!» Родной корабль должен стать железным трупом. Железной костью поперек немецкой глотки. Что ж, командирам виднее.

«Жаль. Как жаль. Так мало я по морям походил. Море мое, море! Прощай!»

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.